

О. ГЕНРИ

Избранные рассказы



Annotation

В сборник вошли рассказы:

- Деловые люди
- Золото, которое блеснуло
- Младенцы в джунглях
- День воскресения
- Пятое колесо
- Поэт и поселянин
- Ряса
- Женщина и жульничество
- Комфорт
- Неизвестная величина
- Театр — это мир
- Блуждания без памяти
- Муниципальный отчёт
- Психея и небоскрёб
- Багдадская птица
- С праздником!
- Новая сказка из «Тысячи и одной ночи»
- Сила привычки
- Теория и практика
- Во втором часу у Руни
- Искатели приключений
- Поединок
- «Кому что нужно»

-
- [О. Генри](#)
 - [Деловые люди](#)
 - [Золото, которое блеснуло](#)
 - [Младенцы в джунглях](#)
 - [День воскресения](#)
 - [Пятое колесо](#)
 - [Поэт и поселянин](#)
 - [Ряса](#)

- [Женщина и жульничество](#)
- [Комфорт](#)
- [Неизвестная величина](#)
- [Театр — это мир](#)
- [Блуждания без памяти](#)
- [Муниципальный отчёт](#)
- [Психея и небоскрёб](#)
- [Багдадская птица](#)
- [С праздником!](#)
- [Новая сказка из «Тысячи и одной ночи»](#)
- [Сила привычки](#)
- [Теория и практика](#)
- [Во втором часу у Руни](#)
- [Искатели приключений](#)
- [Поединок](#)
- [«Кому что нужно»](#)
- [Примечания к сборнику](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)

- [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
-

О. Генри
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
(Сборник)

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Перевод И. Бернштейн.

Вы, конечно, сами все знаете про театры и про актеров. Вы задевали живых актеров локтями на улицах, а они задевали вас за живое на сцене. Вы читали критику на них в газетах и видели в журналах остроумные шутки насчет хористок и длинногривых трагиков. Если свести воедино ваши представления о таинственной закулисной стране, то получится примерно следующее:

Премьерши имеют по пять мужей и массу драгоценностей, фальшивых, конечно. А сложение у них ничуть не хуже вашего, мадам, просто они пользуются накладками. Хористки — это сплошь пергидроль, поклонники и «паккарды». С гастролей все актеры возвращаются по шпалам на своих двоих. Добродетельные актрисы в Нью-Йорке требуют, чтобы на роли комических старух брали их мамаш, а на гастролях — хотя бы двоюродных тетусшек. Настоящее имя Кэрл Беллью — Бойл О'Келли. Джон Мак-Куллок свои разоблачения, вот что записаны на фонограф, попросту украл у Эллен Терри, перекупив по дешевке ее мемуары. Джо Уэббер куда смешнее, чем И. Г. Содери; а Генри Миллер явно стареет и уже не тот, что был раньше. Ночью после спектакля все, кто работает в театре, пьют шампанское и заедают омарами, и так до утра или даже до полудня. Да чего там, все равно кинематограф сделал из них всех котлету.

Но в действительности мало кто из нас знает истинную жизнь служителей Мельпомены. Знали бы, так, наверно, валили бы в актеры еще гуще, чем валят сейчас. Мы поглядываем на них скептически и свысока, хотя потом приходим домой и у себя перед зеркалом пробуем разные жесты и позы.

В последнее время появилась новая точка зрения на актеров. Что будто бы в театрах работают не гастролирующие вакханки и охотники за брильянтами, а самые что ни на есть обычные деловые люди, ученые и аскеты, обремененные семьями и собственными библиотеками, что они владеют недвижимостью и ведут дела так же здраво и осмотрительно, как любой из нас, благонамеренных граждан,

пожизненно привязанных к колесу квартирной платы, растущих цен на уголь, газ и лед и муниципальных сборов.

Которая из этих двух теорий верна, здесь не место гадать. Я просто предлагаю вашему вниманию небольшой рассказ о двух членах эстрадной труппы; а в подтверждение его правдивости могу провести вас через актерский подъезд в старый театр Китора и показать на двери темное пятно от бесчисленных толчков ладонью, когда недосуг поворачивать чугунную витую ручку, — у той двери я последний раз видел Черри, она ласточкой впорхнула к себе в уборную, как всегда рассчитав время до минуты.

Эстрадный дуэт «Харт и Черри» был счастливой находкой. До этого Боб Харт четыре года разъезжал по восточным и западным штатам со своей смешанной программой — в нее входил монолог, три жанровых песенки с молниеносным переодеванием, две пародии на знаменитых пародистов и один характерный танец, не раз удостоенный одобрительного взгляда контрабасиста в оркестре — для настоящего актера нет выше похвалы.

Дело в том, что актеру приятнее всего на свете видеть, как кто-нибудь из его собратьев позорит жалкими ужимками актерское звание. Чтобы доставить себе такое удовольствие, он может покинуть теплое местечко на Бродвее и отправиться за тридевять земель — присутствовать при заклании какого-нибудь своего менее даровитого коллеги. Но случается — хотя и очень редко, — что тот, кто приходит, чтобы поплумиться, остается смотреть и даже потрудит свои руки звучным соприкосновением ладоней.

Однажды вечером Боб Харт всунул свое серьезное и всем в театральном мире известное лицо в окошечко кассы конкурирующей труппы и получил контрамарку в партер.

Вспыхивали и гасли названия номеров программы, одно за другим погружаясь в небытие и все глубже погружая Харта в мрачное уныние. Другие зрители сипли и корчились от смеха, свистели и хлопали — Боб Харт, «Бездна Обаяния и На Все Руки Мастер», сидел с постной физиономией и далеко держал ладонь от ладони, словно мальчик, помогающий бабушке смотреть шерсть в клубок.

Но вот начался восьмой номер программы, и «Бездна Обаяния» встрепенулся. Счастливая восьмерка возвещала появление Вионы Черри, «Исполнительницы Характерных Песенок с

Перевоплощениями». Вся-то Черри была — дунь и нет ее, но свой номер она умела подать честь по чести. Сначала перед вами появлялась восхитительно юная деревенская простушечка в ситцевом передничке и с корзинкой бутафорских ромашек и пела о том, что у них в старой бревенчатой школе можно научиться не одним только столбикам и плаголам, но и кое-чему другому, особенно «когда учитель в наказание на вечер в классе оставлял». Потом, взмахнув ситцевыми оборками, она исчезала и быстрее, чем в мгновение ока, появлялась снова — уже задорной парижанкой. Ибо Искусству ничего не стоит сблизить нашу добрую красную мельницу и парижскую Moulin Rouge^[1]. И тогда...

Но дальше вы все сами знаете. И Боб Харт знал. Просто он увидел и нечто другое. В лице Черри он увидел единственную актрису, в точности подходящую, по его мнению, для роли Эллен Граймс в скетче, который он написал и хранил под крышкой своего чемодана. У Боба Харта, как у всякого нормального актера, бакалейщика, газетчика, профессора, маклера или фермера, была припрятана пьеса собственного сочинения. Их хранят под крышкой чемодана или в дупле дерева, в письменном столе или в стоге сена, на книжной полке или во внутреннем кармане, в сейфах, шкапулках и ящиках для угля, пока не появится какой-нибудь новый мистер Фроман^[2].

Но скетч Боба Харта был не из тех, которым суждено заплесневеть без применения. Назывался он «Кот издох — мышам раздолье». Боб написал его и спрятал до того времени, когда ему подвернется партнерша на роль Эллен Граймс, полностью отвечающая его авторскому замыслу. И вот теперь он увидел живую Эллен: у нее была и юность, и бойкость, и наивность, и огонек, и самая безупречная актерская техника — даже на его придирчивый вкус.

После ее выступления Харт разыскал в кассе директора и получил у него адрес Черри. Назавтра в пять часов вечера он вошел в старый дом в западном конце одной из Сороковых улиц и послал на верхний этаж свою карточку.

При дневном освещении, в мирской блузке с длинным рукавом и простой шерстяной юбке, с подобранными волосами и скромным выражением лица, она хоть сейчас могла бы выступить на сцене в

роли Пруденс Уайз, дочери проповедника и героини великой еще не написанной и не озаглавленной драмы из истории Новой Англии.

— Я знакома с вашей работой, мистер Харт, — сказала мисс Черри Вишенка, внимательно изучив его карточку. — По какому поводу вы хотели меня видеть?

— Я смотрел вас вчера на сцене, — ответил Харт. — У меня есть один скетч, я его написал и пока придерживаю. Там две роли; и мне кажется, вторая вам в самый раз подходит. Вот я и решил потолковать с вами об этом деле.

— Заходите в гостиную, — сказала мисс Черри. — Это меня интересует. Хотелось бы попробовать играть, а не выступать с номерами.

Боб Харт вытащил из кармана своих «Мышей» и прочитал ей.

— Пожалуйста, прочтите еще раз, — попросила мисс Черри.

Потом она предложила несколько поправок: ввести в пьесу вестника взамен разговора по телефону, оборвать диалог перед развязкой, когда герои борются за револьвер, и совершенно изменить все реплики Эллен в том месте, где ее одолевает ревность. Харт без возражений все принял. Она сразу увидела слабые места в его скетче. Ничего не скажешь, женская интуиция, именно этого ему и не хватало. К концу разговора Харт готов уже был ручаться всеми своими навыками, знаниями и накоплениями за четыре эстрадных года, что «Мыши» расцветут пышным круглогодичным цветом в саду гастрольных возможностей. Мисс Черри была не столь поспешна в выводах. Поморщив свой гладкий юный лоб, постучав карандашиком по своим ровным белым зубкам, она, наконец, изрекла последнее слово.

— Мистер Харт, — сказала она. — По-моему, ваш скетч должен иметь успех. Роль этой Граймс подходит мне, будто специально для меня писана. У меня бы она заиграла, как духовой оркестр Сорок четвертого кавалерийского полка на смотре. И вас я видела, знаю, как вы прекрасно управитесь со второй ролью. Но дело есть дело. Сколько вы получаете в неделю за ваше теперешнее выступление?

— Двести, — ответил Харт.

— А я сто, — сказала Черри. — Обычная скидка для женщины. Но я на эту сумму живу и еще каждую неделю откладываю по несколько зелененьких про черный день. Работа в театре мне

нравится; я ее люблю; но еще больше я люблю другое — деревенский домик, который я куплю себе когда-нибудь, а во дворе чтобы бегали рябые курочки-несушки и шесть уток. И позвольте вам сказать, мистер Харт, что у меня сугубо деловой подход. Если вы хотите, чтобы я сыграла роль в вашем скетче, я сыграю. И, по-моему, дело у нас пойдет. Но только я должна вас предупредить: никакой дури я не допущу. Ни о чем таком не может быть и речи. Я работаю в театре ради заработка, как другие девушки работают в конторах и магазинах. Хочу накопить денег на то время, когда мне уже не под силу окажутся теперешние трюки. В «Доме Старых Дам» или в «Убежище Для Непредусмотрительных Актрис» я жизнь кончать не намерена. Хотите, чтобы мы с вами стали компаньонами, мистер Харт, и при этом совершенно безо всяких глупостей — я согласна. Какие в театре бывают компаньоны, мне известно, но только мы с вами должны во всем от них отличаться. Помните, я выхожу на сцену для того, чтобы побольше принести домой в конверте с желтым табачным пятном на том месте, где лизнул кассир. Считайте, что у меня такое хобби — накопить, пока лето, побольше теплых вещей на зиму. Вы должны знать, что я за человек. Ночных ресторанов я в глаза не видела; пью только некрепкий чай; в жизни не разговаривала с женщиной у актерского подъезда и имею вклады в пяти сберегательных кассах.

— Мисс Черри, — проговорил Боб Харт своим красивым, серьезным голосом, — ваши условия мне подходят. Я и сам человек сугубо деловой. Во сне я всегда вижу домик из пяти комнат на северном берегу Лонг-Айленда, на кухне повар-японец стряпает устричный суп и утку по-токийски, а я на веранде качаюсь в гамаке и читаю «В дебрях Африки» Стэнли. И ни живой души вокруг. Вы никогда не интересовались Африкой, мисс Черри?

— Я — нет, — ответила Черри. — Свои деньги я намерена класть в банки. Там начисляют до четырех процентов на вклад. Я рассчитала, что даже при теперешнем жалованье смогу через десять лет получать пятьдесят долларов в месяц одних процентов. А может, вложу часть капитала в какое-нибудь дело — дамскую парикмахерскую или шляпную мастерскую, — и тогда мой доход увеличится.

— Ну что ж, — сказал Харт. — Во всяком случае, взгляд у вас верный. Если бы все у нас откладывали деньги вместо того, чтобы пускать по ветру, каждый мало-мальски стоящий актер мог бы без

опаски смотреть в будущее. Я рад, что у вас такой правильный подход, мисс Черри. Я его разделяю; и мне кажется, что этот скетч, когда мы его как следует отделаем, увеличит и ваши и мои доходы вдвое против теперешнего.

Дальнейшая судьба скетча «Кот издох — мышам раздолье» ничем не отличалась от судьбы всякого удачного драматургического произведения. Его сокращали, разбивали на сцены, переделывали, урезывали, переставляли реплики, снова делали как было, дописывали, вычеркивали, меняли название, восстанавливали прежнее, заменяли револьвер кинжалом, а потом опять кинжал револьвером — словом, подвергали всем существующим видам ужатия и доработки.

Репетировали в пустой гостиной пансиона, где жила Черри, отрабатывая действие строго по минутам, пока не добились, чтобы шипение старинных часов перед боем всегда раздавалось ровно на полсекунды раньше, чем щелчок незаряженного револьвера, который Эллен Граймс держала в руке, прогоняя захватывающую кульминационную сцену.

Да, это была захватывающая пьеса, и поставлена она была замечательно.

На сцене звучал настоящий выстрел из настоящего заряженного тридцатидвухкалиберного револьвера. Эллен Граймс, девушка с Дальнего Запада, в ловкости и отваге не уступающая Буффало Биллу, пламенно любит Фрэнка Десмонда, личного секретаря и будущего доверенного зятя своего отца. «Арапахо» Граймс, полумиллионер и король скотоводов, — живет на собственном ранчо, которое расположено, судя по деталям пейзажа, где-то не то в штате Невада, не то на Лонг-Айленде. Десмонд (в частной жизни мистер Боб Харт) носит краги и охотничье галифе и местом своего жительства называет город Нью-Йорк, так что непонятно, что же он делает в Неваде или там на Лонг-Айленде, и остается только догадываться, зачем королю скотоводов понадобились на ранчо кожаные краги, да в них еще и секретарь.

Словом, вы сами знаете не хуже меня, что такие пьесы, как ни прикидывайся, всем нам по душе — этакая смесь «Сына Синей Бороды» с «Цимбелином» в русской постановке.

В «Мышах» было всего две с половиной роли. Харт и Черри, разумеется, исполняли первую и вторую; а половинка всегда доставалась рабочему сцены, который вбегал в смокинге и в панике и кричал, что дом окружили индейцы, а заодно, по приказанию директора, незаметно прикручивал газ в бутафорском камине.

Еще была в этом скетче вторая женская роль — столичной светской красавицы, которая приезжала погостить на ранчо, успев околдовать Джека Валентайна, еще когда он не разорился и был состоятельным клубменом в Нью-Йорке. Эта девица фигурировала на сцене только в виде фотографии — Джек держал ее портрет на каминной полке в их лонг-айлендской... то бишь невадской гостиной. И Эллен, понятно, мучилась ревностью.

А дальше начинались захватывающие события. Старый «Арапах» Граймс в одночасье умирает от грудной жабы — об этом нам театральным шепотом, так, что слышно в последнем ряду, сообщает осиротевшая Эллен, — и при его кончине присутствует только один человек: его секретарь. А известно, что в день смерти у него в библиотеке (это на ранчо!) оставалось 647 тысяч долларов, вырученных от продажи на Восток партии рогатого скота (вот откуда у нас такие цены на бифштексы!). Деньги исчезли. Джек Валентайн был единственным человеком, который находился при старом скотоводе, когда тот предположительно отдал концы.

— «Видит бог, я его люблю, но если это его рук дело...» — ну, вы понимаете. И дальше в достаточно нелестных тонах говорится о нью-йоркской красавице, которая, кстати сказать, так и не появляется на сцене — и можно ее понять, когда Театральное объединение замораживает цены на билеты и дело дошло уже до того, что платье вам на спине застегивает помощник режиссера, на костюмершу просто не хватает средств.

Однако погодите. Приближается развязка. Эллен Граймс, не в силах дольше владеть своим ковбойским темпераментом, совершенно теряет голову от ревности. Она убедилась, что ее Джек Валентайн не только коварен, но еще и расчетлив. Одним махом лишиться 647 тысяч долларов и возлюбленного в охотничьих галифе с галунами зигзагом, как температурная кривая у тифозного больного, — это какую хочешь благородную леди выведет из себя. Трепещите же.

Он и она стоят в библиотеке (на ранчо), где над книжными шкафами висят лосиные рога (ведь когда-то, если не ошибаюсь, на Лонг-Айленде в первобытных лесах водились лоси?). Это — начало конца. Я не знаю более интересного места в спектакле, разве что конец начала.

Эллен думает, что деньги взял Джек. Больше-то ведь некому было: директор все представление просидел у окошечка кассы; оркестранты со своих мест не вставали; а через актерский подъезд старый Джимми не пропустит ни живой души — до тех пор пока ему не предъявят в качестве гарантий благонадежности скайтерьера или автомобиль.

Окончательно, как мы сказали, потеряв голову, Эллен говорит Джеку Валентайну: «Грабитель и вор — и хуже того, похититель доверчивых сердец! Ты заслужил смерть!»

При этом она, сами понимаете, выхватывает свой верный револьвер.

— «Но я буду милосердна, — продолжает Эллен. — Ты останешься в живых, и это послужит тебе наказанием. Сейчас ты увидишь, с какой легкостью я могла бы обречь тебя смерти, которой ты заслуживаешь. Вот на камине ее портрет. Пулю, что должна была пробить твоё подлое сердце, я всажу в её прекрасное лицо».

Сказано — сделано. И никаких там холостых патронов, никаких погремущек за сценой. Эллен стреляет. Пуля — настоящая пуля — пробивает фотографию — попадает в скрытую пружину, и панель тайника в стене отодвигается, а там, взгляните-ка! те самые 647 тысяч, лежат как миленькие, ассигнации пачками, золото в мешках. С ума сойти. Ну, вы понимаете. Черри два месяца практиковалась с мишенью на крыше своего пансиона. Тут нужна большая меткость. В спектакле ей надо было попадать в медный кружочек диаметром всего три дюйма, да ещё заклеенный обоями; надо было каждый раз остановиться точно на том же месте, и фотография должна была стоять точно в том же положении, и стрелять надо было каждый раз недрогнувшей, твердой рукой.

Конечно же, старый «Арапахо» просто припрятал денежки в укромном месте, и, конечно, Джек не взял себе ничего, кроме собственного жалованья (за что ему, конечно, можно было бы пришить «присвоение денег при отягчающих обстоятельствах»; но

это уже другой вопрос); и, конечно же, нью-йоркская красавица на самом деле обручена с владельцем строительной конторы в Бронксе; так что, естественно, Джек и Эллен оказываются под занавес в двойном нельсоне — и все кончается ко всеобщему счастью.

Доведя скетч до совершенства, Харт и Черри дали пробный спектакль. Успех был сногшибательный. Они одержали одну из тех редких побед в искусстве, которые буквально затопляют зрительный зал сверху донизу. Галерка рыдала; оголенный партер плавал в волнах слез.

Театральные агенты ходили по пятам за Харт и Черри и совали им на подпись бланки контрактов с непроставленными суммами. И вылилось это все в пятьсот долларов еженедельно.

После спектакля, проводив Черри до порога ее пансиона, Харт снял шляпу и пожелал ей спокойной ночи.

— Мистер Харт, — сказала она серьезно, — не зайдете ли на минутку в гостиную? Перед нами открылась возможность заработать приличные деньги. И наша задача теперь — как можно больше сократить расходы, чтобы не тратить сверх нужды ни цента.

— Согласен, — ответил Боб. — Дело есть дело. Вы свои деньги распихиваете по банкам; а мне каждую ночь снится мой домик с поваром-японцем, и чтоб там больше ни живой души. Всякое соображение насчет того, как увеличить чистый доход, представляет для меня интерес.

— Зайдите же на минуту в гостиную, — еще серьезнее повторила Черри. — У меня к вам есть деловое предложение, как сократить расходы и помочь вам в осуществлении вашей мечты, а мне — моей. Сугубо деловое предложение.

Скетч «Кот издох — мышам раздолье» шел в Нью-Йорке с огромным успехом целых десять недель — для эстрадных театров срок немалый, — а потом уехал в провинцию. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что он служил нашему дуэту верным и неисчерпаемым источником дохода, за два года нисколько не утратив своей шумной популярности.

Сэм Паккард, директор одного из нью-йоркских эстрадных театров, так говорил о Харте и Черри:

— Самая лучшая и самая порядочная эстрадная пара. Одно удовольствие — читать их имена в афишке. Спокойные, трудолюбивые, никаких истерик и сердечных страданий, на работу являются минута в минуту, после выступления — сразу домой, и оба такие джентльмены, ну прямо настоящие леди. Никогда еще актеры не причиняли мне меньше неприятностей и не внушали мне больше уважения к своей профессии.

И здесь, ободрав, наконец, всю шелуху, мы подобрались к зерну нашего рассказа.

В конце второго сезона «Мыши» вернулись в Нью-Йорк для второго прогона в летних театрах и на открытых эстрадах. Их с готовностью и на самых выгодных условиях включали в любую эстрадную программу. У Боба Харта домик его мечты был уже, можно сказать, в кармане, а Черри накопила столько банковских книжек, что пришлось ей покупать для них в рассрочку книжные полки.

Говоря это, я просто хочу убедить вас в том, что и среди актеров очень часто встречаются люди, которые живут во имя избранной цели — как, скажем, человек, мечтающий стать президентом, или бакалейщик, задумавший обзавестись собственным загородным домом, или благородная дама, собравшаяся сменить графский хрен на княжескую редьку. И при этом да будет мне позволено заметить, не для печати, что, идя к своей цели, они поистине способны порой свершать чудеса.

Слушайте же.

Во время представления «Мышей» в новом здании театра «Вестфалия» в Нью-Йорке Винона Черри почему-то нервничала. И, стреляя в фотографию на камине, она, вместо того чтобы попасть в лицо красотке и в медный кружочек, пустила пулю в шею Бобу Харту над левой ключицей. От неожиданности Харт упал замертво, а Черри картинно грохнулась в обморок.

Публика, полагая, что ей показали комедию, а не трагедию с женитьбой и примирением, радостно аплодировала. Единственный человек, не потерявший присутствия духа (один такой всегда найдется на месте подобных происшествий), дал знак опустить занавес, и две бригады рабочих сцены уволокли в разные стороны два распростертых тела. Объявили следующий номер программы, и веселье продолжалось.

У актерского подъезда был выловлен молодой медик, ожидавшийся своей пациентки с букетом алых роз наготове. Он внимательно осмотрел Харта и посмеялся от души.

— В газетах о вас не напишут, старина! — таков был его диагноз. — На два дюйма левее — и была бы повреждена сонная артерия. А так пусть бутафор оторвет у какой-нибудь хористочки от подола полоску валансьенских кружев и наложит вам повязку, потом поезжайте домой, там вас перевяжет районный доктор, и все пройдет. А теперь прошу меня простить, меня ждет тяжелобольная.

Боб Харт воспрянул духом и почувствовал себя гораздо лучше. Тут в помещение, где он лежал, пришел Винченце — Великий Фокусник, подлинный артист своего дела. Винченце, он же в быту Сэм Григгз из Брэтлборо, штат Вермонт, был серьезный человек, из каждого города посылавший игрушки и сласти двум маленьким дочкам. Он вместе с Хартом и Черри ездил по провинции и состоял с ними в дружбе.

— Боб, — озабоченно сказал Великий Фокусник, — слава богу, что рана не опасна. Девочка вне себя.

— Кто? — не понял Харт.

— Да Черри. Мы не знали, в каком ты состоянии, и не пускали ее к тебе. Директор и три девушки держат ее там из последних сил.

— Но я же понимаю, это несчастный случай, — сказал Харт. — Я на Черри не в обиде. Просто она не совсем хорошо себя чувствовала. Пусть не угрызается. Она человек деловой. Через три дня, доктор говорит, я снова смогу выступить. Так что незачем ей беспокоиться.

— Парень, — свирепо проговорил Сэм Григгз, нахмуря свой старый, обветренный, складчатый лоб. — Ты что, автомат или мужчина? Черри все глаза по тебе выплакала, все кричит: «Боб! Боб!» — и к тебе рвется, а ее держат за руки, за ноги, сюда не пускают.

— Чего это она? — недоуменно спросил Харт. — Через три дня возобновим выступления. Доктор говорит, рана не опасная. Она не потеряет на этом и половины недельного заработка. Несчастный случай, я понимаю. Чего это она?

— Да ты-то чего, слепой или дурак? — ответил ему Винченце. — Она тебя любит и чуть с ума не сошла оттого, что ты ранен. Что с тобой? Или она для тебя ничего не значит? Слышал бы ты, как она тебя зовет!

— Она... меня... любит? — повторил Боб Харт, приподнимаясь на груди размалеванных задников. — Черри меня любит? Да этого быть не может.

— Ты бы на нее посмотрел да сам послушал.

— Но говорю тебе, — сказал Боб садясь, — этого быть не может. Мне никогда ничего подобного и в голову не приходило.

— Тут двух мнений быть не может, — произнес Великий Фокусник. — Она голову потеряла от любви к тебе. Как ты мог быть таким слепцом?

— Но господи ты боже мой! — Боб вскочил на ноги. — Ведь теперь уже поздно. Поздно, говорю тебе, Сэм. Понимаешь? Поздно! Не может этого быть. Ты, наверно, ошибся. Не может быть. Тут что-то не так.

— Она плачет по тебе, — сказал Великий Фокусник. — Из любви к тебе она одна борется против троих и так громко зовет тебя, что дирекция не решается поднять занавес. Проснись и протри глаза.

— Из любви ко мне? — растерянно повторил Боб Харт. — Да говорю я тебе: поздно! Слышишь? Поздно. Мы же с ней уже два года женаты.

Золото, которое блеснуло

Перевод В. Азова.

Рассказ с моралью подобен mosquito с его жалом. Он вам сначала надоедает, а после себя оставляет яд, который надолго отравляет нашу совесть. Поэтому лучше всего начать с нравоучения, чтобы сразу же с ним и покончить. Не все то золото, что блестит, — но иногда бывает благоразумнее подальше убрать пузырек с кислотой и воздержаться от испытания подлинности металла.

Вблизи того места, где Бродвей подходит к площади, над которой царит Правдивый Джордж^[3], находится Литл-Риальто. Здесь можно встретить всех актеров района; это их штаб-квартира. «Никаких мягких, — говорю я Фроману, — два с половиной доллара за выход; ни центом меньше не возьму» — и ухожу.

К западу и к югу от царства Мельпомены лежат одна или две улицы, где тесно жмутся друг к другу представители испано-американской колонии в надежде создать себе хоть некоторую иллюзию тропической жары на беспощадном севере. Центром, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь этой местности, является «Эль-Рефугио», кафе-ресторан, обслуживающий легкомысленных эмигрантов с юга. Из Чили, Боливии, Колумбии, из вечно шумящих республик Центральной Америки, с кипящих страстями Вест-Индских островов залетают сюда одетые в плащ и сомбреро сеньоры, выбрасываемые, подобно горячей лаве, из своих государств политическими извержениями. Сюда они являются, чтобы составлять заговоры, ожидать благоприятной минуты, добывать средства, вербовать флибустьеров, вывозить контрабандой оружие и военные припасы — одним словом, заниматься различными авантюрами. Здесь, в «Эль-Рефугио», господствует атмосфера, необходимая для их процветания.

В ресторане «Эль-Рефугио» подаются кушанья, наиболее ценимые жителями стран, лежащих между Козерогом и Раком. Из человеколюбия мы должны здесь на время прервать наш рассказ. О ты, едок, которому надоели кулинарные ухищрения галлов! Отправляйся в

«Эль-Рефугио»! Только там найдешь ты рыбу из Мексиканского залива, поджаренную по-испански. Томаты придают ей цвет, индивидуальность и дух; чилийская капуста сообщает ей вкус, оригинальность и прелесть; неведомые травы добавляют пикантность, экзотичность и... впрочем, заключительное совершенство ее заслуживает отдельного предложения. Вокруг нее, над ней, под ней, поблизости, — но отнюдь не в ней самой, — витает эфирная аура, эманация столь тонкая и нежная, что только Общество Психических Изысканий могло бы открыть ее происхождение. Не позволяйте себе утверждать, что в «Эль-Рефугио» кладут в рыбу чеснок. Можно только сказать, что дух чеснока, пролетая, мимоходом коснулся устами обложенного петрушкой блюда; но поцелуй этот неизгладим, как воспоминание о тех поцелуях, которые «в мечтаниях ты срываешь с уст, уж отданных другому». А потом, когда Кончито, слуга, подает вам порцию румяных frijoles и графин вина, которое прямым сообщением приехало без остановок в «Эль-Рефугио» из Опорто — ah, Dios!..

Однажды с пассажирского парохода Гамбургско-Американской линии сошел на пристань № 55 генерал Перрико Хименес Виллабланка Фалькон, прибывший из Картахены. Мастью генерал был не то рыжий, не то гнедой, объем его талии равнялся сорока двум дюймам, а рост его, вместе с каблуками времен Людовика XV, не превышал пяти футов четырех дюймов. По усам его можно было принять за содержателя тира; одет он был как член конгресса из Техаса и держался с важным видом делегата, получившего неограниченные полномочия.

Генерал Фалькон был достаточно знаком с английским языком, чтобы спросить, как пройти на улицу, где помещается «Эль-Рефугио». Дойдя до тех краев, он увидел приличного вида красный кирпичный дом, на котором была вывеска «Hotel Espanol». В окне была выставлена карточка, на которой было написано по-испански: «Aquí se habla Espanol»^[4]. Генерал вошел, уверенный в том, что он найдет здесь тихую пристань у соотечественников.

В уютно обставленной конторе сидела владелица, миссис О'Брайен. Это была блондинка — несомненная, безупречная блондинка. Что касается прочего, то она была воплощенная любезность и отличалась довольно внушительными размерами. Генерал Фалькон почтительно ее приветствовал, отвесив ей низкий

поклон, причем его широкополая шляпа даже слегка коснулась земли, и разразился по-испански речью, извергая слова, как пулемет.

— Испанец или даго^[5]? — любезно спросила миссис О'Брайен.

— Я из Колумбии, сеньора, — гордо ответил генерал. — Я говорю испанский. На вашем окне написано: здесь говорят по-испански. Как же это?

— Да ведь вы же сейчас и говорили по-испански, — возразила дама. — А я-то вот и не умею.

Генерал Фалькон снял в гостинице номер и устроился в нем. Когда начало смеркаться, он вышел на улицу, чтобы полюбоваться диковинами оплустительно шумной северной столицы. По дороге он вспомнил необыкновенно золотистые волосы миссис О'Брайен. «Вот где, — сказал себе генерал (без сомнения, на родном языке), — можно найти самых красивых сеньор в мире. Родная Колумбия не имеет подобных красавиц среди своих дочерей. Но что я! Не мне, не генералу Фалькону, думать о красоте! Все мои помыслы должны принадлежать моей родине!»

На углу Бродвея и Литл-Риальто генерал растерялся. Трамваи ошеломляли его, а под конец предохранительная решетка одного из них бросила его на ручную тележку, наполненную апельсинами. Извозчик чуть не наехал на него, даже слегка задел беднягу и излил на его голову поток отборной ругани. Генерал кое-как добрался до тротуара, но сейчас же привскочил в ужасе, услышав над ухом резкий свисток и почувствовав, что его обдало горячим паром: на этот раз его испугала переносная жаровня для орехов... «Yalgame Dios!^[6] Что за дьявольский город!»

Как подстреленная птица, генерал отпрыгнул в сторону от бесконечного потока прохожих, и тут его одновременно увидели и наметили, как подходящую дичь, два охотника. Один был «Забияка» Мак-Гайр, охотничья система которого была основана на употреблении кулаков и злоупотреблении металлической трубкой дюймов в восемь длины. Второй Нимврод мостовой был некто Келли, по прозвищу «Паук», спортсмен, признававший лишь более утонченные методы.

Оба сразу бросились на столь явную добычу, как генерал; но при этом мистер Келли на секунду опередил своего соперника. Он только-только успел отстранить локтем наскочившего мистера Мак-Гайра.

— Пшел вон! — резко объявил он. — Я первый увидел его.

И Мак-Гайр скрылся, склонив оружие перед высшим интеллектом.

— Виноват, — обратился к генералу мистер Келли. — Но вы, кажется, пострадали в давке? Разрешите прийти вам на помощь.

Он поднял шляпу генерала и смахнул с нее пыль.

Образ действий мистера Келли не мог не иметь успеха. Генерал, растерянный и смущенный невиданным уличным движением, приветствовал своего спасителя, как истого кабаллеро с бескорыстной душой.

— У меня есть желание, — сказал генерал, — вернуться в гостиницу О'Брайен, где я остановил себя. Карамба, сеньор, какая у вас шумность и быстротность движения в вашем Новом Йорке!

Но вежливость не позволяла мистеру Келли покинуть знатного колумбийца одного среди опасностей, ожидавших его на обратном пути. У входа в «Hotel Espanol» оба остановились. Немного дальше, по другую сторону улицы, сияла скромно освещенная вывеска «Эль-Рефугио». Мистеру Келли, знавшему город как свои пять пальцев, было известно по виду и это заведение, как сборный пункт всех даго. Мистер Келли делил иностранцев на две категории: на даго и на французов. Он предложил генералу отправиться в кафе и подвести под их случайное знакомство жидкий фундамент.

Час спустя генерал Фалькон и мистер Келли все еще сидели за столиком в «Эль-Рефугио», в углу заговорщиков. Перед ними стояли бутылки и стаканы. В десятый раз генерал поверял тайну своей миссии в Соединенные Штаты. По его словам, ему было поручено приобрести оружие — две тысячи винчестеров — для революционеров в Колумбии. В кармане его лежали чеки на сумму в двадцать пять тысяч долларов, выданные Картахенским банком на Нью-Йоркский банк. За соседними столами другие революционеры громким криком передавали политические тайны своим сообщникам; но никто не орал так, как генерал. Он стучал кулаком по столу; он требовал еще вина; он вопил, что данное ему поручение — совершенно секретное и что о нем нельзя даже намекнуть ни одному живому человеку. В душе мистера Келли проснулся ответный, полный сочувствия восторг. Он схватил через стол руку генерала и крепко пожал ее.

— Мусью, — проникновенно сказал он, — я не знаю, где лежит эта ваша страна, но я всей душой за нее. Впрочем, она, вероятно, входит в состав Соединенных Штатов, потому что все стихоплеты и школьные учительницы называют нас Колумбией. Ну и подвезло же вам, что вы сегодня на меня натолкнулись. Я единственный человек во всем Нью-Йорке, через которого вы можете провести ваше дело с оружием. Военный министр Соединенных Штатов — мой лучший друг. Он сейчас здесь, и я повидаюсь с ним завтра и поговорю насчет вас. А пока что, мусью, запрячьте чеки подальше во внутренний карман. Я завтра зайду за вами и поведу вас к нему. Да, послушайте, вот что: ведь у вас речь идет не об округе Колумбия, не правда ли? — заключил мистер Келли, внезапно почувствовав угрызения совести. — Вам все равно не удастся захватить его с двумя тысячами винтовок. Уже пробовали с большим числом, да и то не вышло.

— Нет, нет, нет! — воскликнул генерал. — Это республика Колумбия, ве-ли-ка-я республика на самой верхушке у Южной Америки. Так, так!

— Ладно, — сказал успокоенный мистер Колли. — Ну а теперь давайте-ка понемногу домой собираться. Я сегодня напишу министру, чтоб он мне назначил день для переговоров. Вывести оружие из Нью-Йорка — дело хитрое.

Они расстались у входа в «Hotel Espanol». Генерал, закатив глаза, взглянул на луну и вздохнул.

— Великий это город, этот ваш Новый Йорк, — сказал он. — Правда, что трамваи могут погубить человека, а машина, которая жарит орехи, ужасно кричит в ухо. Но зато, сеньор Келли, здешние сеньоры! Сеньоры с волосами из золота, восхитительно полные, они — *magnificas!* Muy *magnificas!*^[7]

Келли отправился в ближайшую телефонную будку и позвонил в кафе Мак-Крэри на Верхнем Бродвее. Он велел вызвать Джимми Денна.

— Кто у телефона? Джимми Денн? — спросил Келли.

— Да, — был ответ.

— Вот ты и соврал! — радостно объявил Келли. — Ты — военный министр. Жди меня — я сейчас приеду. Я, брат, закинул удочку и поймал такую рыбку, которая тебе и во сне не снилась. Она из породы колорадо-мадура, с золотым пояском вокруг, и так начинена

купонами, что ты можешь хоть сейчас идти покупать себе все, что хочешь, хоть стоячую красную лампу и статуэтку Психеи у ручья. Я сейчас сажусь в вагон.

Джимми Денн был великим мастером ювелирной работы. Он был настоящим артистом и делал только самую тонкую работу. Он в жизни своей не брал в руки дубины и вообще презирал физические меры воздействия. Можно поручиться, что он всегда угощал бы намеченных им жертв лишь чистыми, нефальсифицированными напитками, если бы их можно было вообще достать в Нью-Йорке. «Паук» Келли лелеял честолюбивую мечту — когда-нибудь подняться до уровня Джимми.

Между приятелями произошло в тот же вечер совещание у Мак-Крэри. Келли объяснил дело.

— Это детская игра. Он приехал с острова Колумбии, где происходит какая-то потасовка, или гражданская война, или что-то в этом роде, и его прислали сюда, чтобы закупить две тысячи винчестеров, чтобы решить это дело. Он показал мне два чека, на десять тысяч долларов каждый, и один на пять тысяч. Понимаешь, Джимми, меня даже разозлило, что он не превратил их в тысячные билеты и не подал мне их на серебряном подносе. Теперь надо подождать, пока он сходит в банк и достанет для нас эти деньги.

Совещание длилось часа два, после чего Денн объявил:

— Приведи его туда, на Бродвей, завтра в четыре.

Келли пунктуально заехал в «Hotel Espanol» за генералом. Он застал мудрого воина за приятной беседой с миссис О'Брайен.

— Военный министр ждет нас, — сказал Келли.

Генерал с грустью оторвался от своего занятия.

— Да, сеньор, — со вздохом сказал он. — Долг призывает меня. Но, сеньор, в ваших Соединенных Штатах сеньоры — какие красавицы! Для примирения возьмите la madame О'Брайен. Она есть богиня Юнона, с глазами как у бычка, как говорится.

На свою беду, мистер Келли считал себя в высшей степени остроумным человеком; не его первого погубила эта черта, и не он первый сгорел от фейерверка своего остроумия.

— Без сомнения, — с усмешкой сказал он, — но заметили ли вы, что эта Юнона прибегает к перекиси водорода?

Миссис О'Брайен услышала эти слова, подняла свою золотую головку и посмотрела на удаляющуюся фигуру Келли с обычным деловым видом. Никогда не следует говорить бесцельных грубостей дамам — это допустимо только в трамвае.

Когда лихой колумбиец и его провожатый приехали в назначенное место на Бродвее, их продержали полчаса в передней и затем ввели в канцелярию, где за письменным столом сидел и что-то писал изящный господин с гладко выбритым лицом. Генерал Фалькон был представлен военному министру Соединенных Штатов, и его дело было изложено его старинным другом, мистером Келли.

— А, Колумбия! — многозначительно проговорил министр, когда его посвятили во все подробности. — Я боюсь, что, в таком случае, представятся некоторые затруднения. Президент и я — мы расходимся в своих симпатиях. Его сочувствие на стороне существующего строя, а мое... — Министр таинственно, но ласково улыбнулся генералу. — Вам, генерал, без сомнения, известно, что со времени политической борьбы между тамманистами и республиканцами конгресс издал постановление, согласно которому всякие оружейные изделия и военные припасы, вывозимые из страны, должны быть взяты на учет военным министерством. Тем не менее я с удовольствием сделаю для вас все, что могу, ради моего старинного приятеля мистера Келли. Но все должно храниться в строжайшей тайне, так как президент, как я уже говорил, не сочувствует стремлениям революционной партии в Колумбии. Я сейчас прикажу ординарцу принести мне список оружия, имеющегося в данное время на складе.

Министр позвонил, и в комнате тотчас же появился ординарец в фуражке с буквами.

— Принесите мне опись «Б» легкого оружия, — сказал министр.

Ординарец быстро вернулся с печатным списком. Министр погрузился в его рассмотрение.

— Оказывается, — сказал он, — в государственном складе номер девять есть партия в две тысячи винчестерских винтовок, заказанная мароккским султаном, который, однако, не выслал денег своим приемщикам. А по нашим правилам, сумма уплачивается полностью при сдаче заказа. Келли, ваш приятель, генерал Фалькон, может, если хочет, приобрести эту партию винтовок по фабричной цене. А затем, прошу меня извинить, но я вынужден проститься с вами. Я ожидаю

сейчас японского посла и Чарлза Мерфи^[8]; они могут появиться в любую минуту.

Этот разговор имел различного рода последствия. Во-первых, генерал Фалькон почувствовал глубокую признательность к своему уважаемому другу, мистеру Келли. Во-вторых, военный министр был чрезвычайно занят в течение двух ближайших дней: он усиленно закупал пустые ящики из-под винтовок, наполнял их кирпичом и затем устанавливал на складе, нанятом для этой цели. В-третьих, когда генерал вернулся в «Hotel Espanol», миссис О'Брайен подошла к нему, смахнула пушинку с отворота его пальто и сказала:

— Слушайте, сеньор, я не хочу совать свой нос в чужие дела, но скажите мне все-таки, что нужно от вас этому похожему на обезьяну, желтоглазому, длинношеему, визгливому хулигану?

— *Sangre de mi vida!*^[9] — воскликнул генерал. — Невозможно есть, что вы говорите это про моего доброго друга, сеньора Келли?

— Пойдемте-ка в сад, — сказала миссис О'Брайен. — Мне нужно кое о чем поговорить с вами.

Теперь вообразим, что прошел целый час.

— И вы говорите, — сказал генерал, — что за восемнадцать тысяч долларов можно купить всю обстановку дома и снять его на один год вместе с этим садом, так прекрасным и так похожим на patio^[10] моей дорогой Колумбии?

— И это будет даром, — вздохнула дама.

— Ah, Dios! — воскликнул генерал. — Что для меня война и политика? Это место есть рай. Моя страна — она имеет других храбрых героев, чтобы продолжали сражаться. Что для меня слава и убивание людей? Не нужно ничего. Это здесь я нашел ангела. Купим «Hotel Espanol», и вы будете моей, и деньги не будут выброшены на оружие!

Миссис О'Брайен положила свою золотистую головку, причесанную a la Pompadour, на плечо колумбийского патриота.

— О, сеньор, — сказала она со вздохом счастья, — вы ужасны!

Через два дня наступил срок передачи винтовок генералу. Ящики, якобы наполненные оружием, были сложены на складе, нанятом для этой цели, и военный министр сидел на них в ожидании своего друга Келли, отправившегося за жертвой.

В назначенный час мистер Келли торопливо приближался к «Hotel Espanol». Он застал генерала за конторкой, погруженного в какие-то вычисления.

— Я решил, — объявил генерал, — покупать не оружие. Я сегодня уже купил внутренности этой гостиницы, и скоро будет свадебная женитьба генерала Перрико Хименес Виллабланка Фалькона на la madame О'Брайен.

У мистера Келли от негодования захватило дух.

— Ах ты, лысая старая жестянка из-под ваксы! — крикнул он, заикаясь и брызгая слюной. — Мошенник ты и больше ничего! Ты купил гостиницу на деньги, которые принадлежат твоей проклятой стране, черт знает как ее там зовут!

— Ах, — сказал генерал, подытоживая столбец, — это есть то, что называется политикой. Война и революция неприятны. Да. Зачем всегда следовать за Минервой? Не нужно. Гораздо более лучше держать гостиницу и быть с этой Юноной. Ах! Какие она имеет волосы из золота на своей голове!

Мистер Келли опять чуть не задохся.

— Ах, сеньор Келли! — проникновенно сказал генерал в заключение. — Вы никогда, очень видно, не ели рагу из солонины, которое приготавлила мадама О'Брайен.

Младенцы в джунглях

Перевод Е. Калашиниковой.

Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтегью Силвер, первый на всем Западе ловкач и пройдоха:

— Если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один протак: но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать.

Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали выскакивать у меня из памяти, а над левым ухом появилось несколько седых волосков; тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера.

Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу — Силвер собственной персоной: навечно на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком.

— Склероз мозга или преждевременная старость? — спрашиваю я его.

— А, Билли! — говорит Силвер. — Рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Ведь они считать умеют только до трех, танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленишек. Она меня не для того воспитывала.

— А что, у дверей, где написано: «Принимают в чистку», уже толпится очередь? — спрашиваю я.

— Да нет, — говорит Силвер. — В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить; и все учащиеся воскресной школы Вилли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие,

благоволят послать свои фотографии для помещения в «Ивнинг дэйли».

— Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что, если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару.

Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины.

— Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Силвер, — больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и ученее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа дель Сарто «Иоанн Креститель в молодости».

Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать десяток полисмену, который меня вел. Но после этого я их изъясил из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «Чик-го», или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек из кармана.

А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да, на беду, я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители,

например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием.

— Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты и правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус, ему не хватает *gus in urbe*^[11]. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирю величиной. Боюсь, что не так уж они просты.

— Все понятно, Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел эмигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезшему человеку с непривычки страшновато. Но ничего, это у тебя пройдет. Я же тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащись за ними на улицу! Знаешь, кто в этом городе ходит в брильянтах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить ньюйоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит — как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками.

— Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я, — только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдастся мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато.

— Напрасные опасения, — говорит Силвер. — Я знаю настоящую цену этому Кретинтауну близ Разиньвилля, и это так же верно, как то, что Северная река — это Гудзон, а Восточная река —

вообще не река^[12]. Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона.

— Оставим гиперболы, — говорю я, — и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к Армии Спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гулд?

— Могу предложить хоть двадцать способов, — говорит Силвер. — Сколько у тебя капитала, Билли?

— Тысяча, — отвечаю.

— А у меня тысяча двести, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начать.

На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия.

— Сегодня мы познакомимся с Дж. П. Морганом, — говорит он. — Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада.

— Вот это уже похоже на дело! — говорю я. — Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом.

— Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомства среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих.

Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к Силверу в номер вместе со своим приятелем с Уолл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты; левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку.

— Это мистер Силвер, а это мистер Пескад, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового...

— Ну, ну, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган. — Рад познакомиться с вами, джентльмены; меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется

парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я...

— Пирпонт, Пирпонт, — перебивает Клейн. — Вы что, забыли?

— Ах, извините, джентльмены! — говорит Морган. — С тех пор как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там, на Западе, встречать Одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико.

Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, браня кого-то громким голосом.

— Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой.

— Какие там еще акции! — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально послал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов — да что пятьдесят! Семьдесят пять тысяч заплатил бы. И дал своему человеку а la carte: покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий де Винчи...

— Как, мистер Морган? — говорит Клейн. — Разве не все картины де Винчи находятся в вашей коллекции?

А что это за картина, мистер Морган? — спрашивает Силвер. — Наверное, она величиной с боковую стену небоскреба «Утюг»?

— Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер Силвер, — говорит Морган. — Это картинка размером двадцать семь дюймов на сорок два, и называется она «Досуг любви». Нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют тустеп на берегу лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорей всего, эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция неполна. Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат финансист должен, знаете, соблюдать режим.

Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. После их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди; Силвер сказал, что обмануть такого

человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно; а я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно.

После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Силвер, отправились на Седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним.

Когда мы вернулись в отель и Клейн ушел к себе, Силвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками.

— Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли?

— Кого — ее? — спрашиваю.

— Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика, прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, это та самая. Барышни прямо как живые, из таких, что носят платья сорок шестого размера, но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище.

На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забулдыг, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов.

— Это что за мазня у вас там висит, над конторкой? — говорит Силвер хозяину как бы между прочим. — Вообще говоря, никудышная картинка, но мне на ней приглянулась вон та рыженькая, с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.

Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота.

— Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот долларов. Это «Досуг любви» Леонардо де Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как

невыкупленный заклад. Вот, рекомендую эту цепочку, очень модный фасон.

Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в кеб и покотил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаясь. Через два часа является Силвер.

— Ну, как, застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину?

Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти.

— Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он, — потому что мистер Морган уже второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?



День воскресения

Перевод М. Кан.

Ясно вижу, как хмурит лоб художник и грызет карандаш, когда речь заходит о том, чтобы изобразить пасхальный сюжет, — оно и понятно, ибо его профессиональные представления о тех, кто может быть причастен к этому празднику, вполне законно сводятся всего к четырем персонажам.

Первый из них — сама Пасха, языческая богиня весны. Здесь он волен дать полный простор воображению. Для этой роли подойдет, в частности, прекрасная дева с живописно распущенными волосами и должным числом пальцев на ногах. Позировать будет известная манекенщица мисс Кларисса Сент-Вавасур, мягко выражаясь, в дезабилье.

Второй вариант — дама с томно воздетыми очами и в рамке из лилий. Смахивает на журнальную обложку, зато многократно проверен.

Третий — мисс Манхэттен в воскресной пасхальной процессии на Пятой авеню.

Четвертый — Мэгги Мэрфи в старенькой соломенной шляпке с новым красным пером, разодетая на зависть всей Гранд-стрит^[13], сияющая и смущенная.

Зайчики, понятное дело, в счет не идут. Пасхальные яйца — тоже, им слишком круто пришлось от строгих критиков.

Столь ограниченный выбор изобразительных возможностей есть свидетельство того, что из всех праздников Пасха имеет в нашем сознании наиболее расплывчатые и зыбкие очертания. Ее признают своею все религии, хотя придумали язычники. Между тем стоит обратиться к еще более седой старине, к самой первой из всех весен, и мы увидим, как Ева придирчиво выбирает для себя свежий зеленый листок с *figus carica*^[14].

Сия критическая и ученая преамбула имеет целью сформулировать ту теорему, что Пасха — это не дата, не время года,

не праздник и не событие. А чтобы установить, что же она такое, предложим читателю отправиться следом за Данни Мак-Кри.

Розовая, ранняя, пришла в урочный срок заря пасхального воскресенья, пришла, как ей назначено по календарю — то есть после субботы и перед понедельником. В 5.24 встало солнце; в 10.30 его примеру последовал Данни. Он прошел на кухню и стал умываться над раковиной. У плиты его мать поджаривала грудинку. Пока сын жонглировал круглым куском мыла, она поглядывала на твердое, молодое, смышенное лицо и вспоминала, каким двадцать два года назад на пустыре в Гарлеме, где теперь жилой дом «Ла Палома», впервые увидела его отца, когда он поймал между второй и третьей базой бейсбольный мяч, посланный пушечным ударом низко по земле. Сейчас отец Данни сидел с трубкой у открытого окна общей комнаты, и его взлохмаченные седые волосы трепал весенний ветерок. С трубкой он не расстался даже после того, как два года назад на взрывных работах не вовремя взорвался динамит и лишил его зрения. Вообще же очень редко встретишь слепого, который курит, — ведь ему не виден дым. Приятно вам было бы слушать, как читают новости из вечерней газеты, и не видеть, каким шрифтом набраны заголовки?

— Пасха сегодня, — сказала миссис Мак-Кри.

— Мне глазунью, — сказал Данни.

После завтрака он оделся, как подобает одеваться в праздничное утро ломовому извозчику с портовых складов на Канал-стрит, — сюртук, брюки в полоску, лаковые штиблеты, золоченая цепочка поперек жилета, стоячий, с отвернутыми уголками воротничок, галстук-бабочка, приобретенный на субботней распродаже у Шонстайна (угол Четырнадцатой, сразу как пройдешь фруктовый ларек Тони), и котелок с загнутыми полями.

— Небось погулять собрался, Данни, — с оттенком грусти сказал старый Мак-Кри. — Говорят, нынче вроде бы праздник. Что ж, время весеннее, на улице благодать. Я по воздуху чую.

— А почему это я не могу сходить погулять? — спросил Данни сварливым басом. — Может быть, я обязан сидеть дома? Что я, хуже лошади? Лошадям и то положено отдыхать один раз в неделю. Интересно знать, на чьи деньги мы снимаем эту квартиру? Кто тебе заработал на этот завтрак, можешь ты мне сказать?

— Ладно, сынок, — сказал старый Мак-Кри. — Я ведь не жалею. Погулять в воскресенье — самое милое дело, я тоже страсть как любил, пока были глаза. Ничего, посижу, покурю. Из окна тянет землей, и сухие ветки жгут где-то рядом. А ты ступай отдохни, сынок, — в добрый час. Об одном только я горюю, что твоя мать не выучилась грамоте, дочитала бы мне про гиппопотама... Ну, да что уж теперь.

— Чего это он там мелет насчет гиппопотамов? — спросил Данни у матери, когда проходил через кухню. — Ты уж не в зоопарк ли водила его? Для чего бы, спрашивается?

— Никуда я его не водила, — сказала миссис Мак-Кри. — Так и сидит целыми днями у окошка. Какие у бедного человека развлечения, если он слепой. У них, думается, даже мысли мешаются иной раз. Вчерашний день битый час без умолку толковал про древних греков. Он-то, говорю, может, и древний, а она — совсем еще молодая. Не так ты поняла меня, отвечает. Для слепого, Данни, времечко ползет ох как медленно, хоть по праздникам, хоть и по будним дням. А уж, кажется, пока не потерял глаза, никого не было его лучше и сильнее. Да. Вот утро-то выдалось какое. Иди, сынок, веселись. Ужин будет холодный, в шесть часов.

— Про гиппопотама не слышать разговоров? — спросил Данни у дворника Майка, когда спустился и вышел на улицу.

— Пока нет, — сказал Майк и поддернул выше рукава рубахи. — На что только не жаловались за последние сутки — и в части незаконных действий, и природных явлений, и живности. Но насчет этого тихо. Хочешь, сходи к хозяину. А то съезжай с квартиры. У тебя в договоре о найме обозначено про гиппопотамов? Нет? Тогда чего же ты?

— Да это мой старик обмолвился, — сказал Данни. — Просто так, скорее всего.

Данни дошел до угла и свернул на улицу, ведущую к Северу, в центр квартала, где Пасха — современная Пасха в ярком современном уборе — справляет свое торжество. Из темных высоких церквей лились сладкие звуки песнопений, издаваемых живыми цветами — такими представлялись взору девушки в пасхальных нарядах.

Общий фон создавали господа, расфуфыренные в строгом соответствии с обычаем: в сюртуках и цилиндрах, с гардений в

петлице. Дети несли в руках букеты лилий. Окна богатых особняков пестрели роскошнейшими созданиями Флоры, сестры той дамы в венке из лилий.

Из-за угла, в белых перчатках, дородный, застегнутый на все пуговицы, вышел полицейский Корриган, квартальный ангел-хранитель. Данни был с ним знаком.

— Слушай, Корриган, — сказал он. — Пасха, она зачем? Когда она наступает — это известно: как наберешься первый раз семнадцатого марта, и чтобы на полный месяц равное действие. Но зачем? Что она, церковный обряд чин по чину, или же ее в интересах политики губернатор назначает?

— Праздник этот местный, — оказал Корриган с непрекаемостью, достойной третьего помощника полицейского комиссара. — Проводится ежегодно в черте города Нью-Йорка. Распространяется и на Гарлем. Бывает, что на Сто двадцать пятую улицу приходится высылать резервный наряд. К политике, я считаю, не имеет касательства.

— Ну, спасибо, — сказал Данни. — А это... не слышал ты, чтобы люди жаловались на гиппопотамов? Когда, то есть, не слишком выпивши?

— На морских черепахах — случалось, — в раздумье сказал Корриган. — При содействии метилового спирта. А на что покрупнее — нет.

Данни побрел дальше. Побрел, придавленный вдвойне тяжелой повинностью — получать удовольствие одновременно и от воскресного дня, и от праздника.

Невзгоды на плечах у рабочего человека — точно будничная одежда, сшитая ему по мерке. Ее надевают столь часто, что привыкают носить с естественным шиком, точно костюм от лучшего портного. Недаром горести бедняков служат самой выигрышной темой для сытых искусников пера и кисти. Другое дело, когда простой человек задумает поразвлечься, тут его забавам сопутствует мрачность, достойная самой Мельпомены. Вот почему Данни угрюмо стиснул зубы в ответ на то, что пришла Пасха, и предавался увеселениям без всякого веселья.

Зайти и степенно посидеть в кафе Дугана — это было еще приемлемо, и Данни пошел на уступку весне, спросив кружку пива.

Он сидел в сырой задней комнате, выстланной темным линолеумом, и по-прежнему сердцем и душою тщился постигнуть таинственный смысл вешнего торжества.

— Скажи, Тим, — обратился он к официанту. — Для чего людям Пасха?

— Иди ты! — сказал Тим и подмигнул в знак того, что его не проведешь. — Что-то новенькое, да? Ясно. Тебя-то кто на это подловил? Ладно, сдаюсь. Так какой ответ — для ватрушек или для желудка?

От Дугана Данни повернул обратно к востоку. Под апрельским солнцем в нем пробуждалось некое смутное чувство, трудно поддающееся определению. Данни, во всяком случае, истолковал его неверно, решив, что виной ему — Кэти Конлан.

Он встретил ее в нескольких шагах от ее дома, когда она шла в церковь. На углу авеню «А» они обменялись рукопожатием.

— Ого! Такой фронт, а хмур, словно туча, — сказала Кэти. Что с тобой? Гляди веселей, пошли в церковь.

— А чего там такое? — спросил Данни.

— Пасха, чудак ты! До одиннадцати сидела ждала, когда ты за мной зайдешь.

— В чем, Кэти, ее суть, Пасхи этой? — сумрачно спросил Данни. — Похоже, что никто не знает.

— Кто не слепой, тот знает, — запальчиво сказала Кэти. — Мог бы заметить, между прочим, что на мне новая шляпка. И юбка. Тогда и понял бы, что Пасха — это когда девушки наряжаются в весенние обновки. Вот чудак! Ну, идешь ты со мной в церковь?

— Пойду. Раз эту самую Пасху проворачивают в церкви, стало быть, там обязаны ей подыскать какое-то оправдание. А шляпка, конечно, блеск. Особенно зеленые розы.

В церкви священник растолковал кое-что, и при этом не сказать, чтобы толлок воду в ступе. Правда, он говорил быстро, потому что торопился пораньше поспеть домой к праздничному обеду, но дело свое знал. Больше всего он напирал на одно слово — воскресение. Не новый акт творения, но рождение новой жизни из старой. Паства слышала об этом уже много раз. Впрочем, на шестой скамье от кафедры сидела замечательная шляпка, бесподобное сочетание лаванды с душистым горошком. Так что было чем занять внимание.

После церкви Данни задержался на углу, и Кэти обиженно подняла на него небесно-голубые глаза.

— Ты не к нам сейчас? — спросила она. — Действительно, стоит ли обо мне беспокоиться. Я прекрасно дойду одна. Видно, у тебя мысли заняты чем-то поважней. Ну и пожалуйста. Может быть, мы с вами вообще больше не встретимся, мистер Мак-Кри?

— Зайду, как обычно, в среду вечером, — сказал Дании, повернулся и пошел на ту сторону улицы.

Кэти зашагала прочь, возмущенно встряхивая на ходу зелеными розами. Данни прошел два квартала и остановился. Сунув руки в карманы, он стоял на углу у края тротуара. Лицо у него застыло, как будто высеченное из камня. На самом дне его души что-то шелохнулось, забродило, такое маленькое, нежное, щемящее, такое чуждое грубому материалу, из которого был сработан Данни. Оно было ласковее, чем апрельский день, тоньше, нежели зов плоти, чище и глубже, чем любовь к женщине, — разве не отвернулся он от зеленых роз и от глаз, к которым был прикован вот уже целый год? А что это было, Дании не знал. Проповедник, который спешил к обеду, говорил ему, но ведь у Данни не было либретто, чтоб уловить смысл полусонного и певучего бормотания. И все-таки проповедник говорил правду.

Внезапно Данни хватил себя по бедру и испустил хриплый и восторженный вопль.

— Гиппопотам! — возопил он, обращаясь к опорному столбу надземки. — Нет, это надо же придумать! Ну, теперь-то я знаю, куда он клонил... Гиппопотам! С ума сойти, честное слово! Год прошел, как он это слышал, а гляди ты, почти не промахнулся. Мы кончили 469 годом до Рождества Христова, дальше идет как раз про это. Но поди догадайся, чего он хочет выразить — мозги свихнешь.

Данни вскочил в трамвай и скоро уже входил в темную квартирку, снятую на его трудовые деньги.

Старый Мак-Кри все сидел у окна. Погасшая трубка лежала на подоконнике.

— Это ты, сынок? — спросил он.

Если сурового мужчину застать врасплох, когда он собрался сделать доброе дело, он вскипит. Данни вскипел.

— Кто здесь платит за квартиру? — злобно огрызнулся он. — На чьи деньги покупают еду в этом доме? Я что, не имею права войти?

— Ты хороший сын, — сказал со вздохом старый Мак-Кри. — Так уже вечер?

Данни протянул руку к полке и достал толстую книгу с тисненным золотом заглавием: «История Греции». Пыли на ней накопилось с палец толщиной. Он положил ее на стол и нашел место, заложенное полоской бумаги. Тогда он хохотнул коротко и зычно и сказал:

— Желаешь, значит, чтобы тебе почитали про гиппопотама?

— Я слышу, ты открыл книгу? — сказал старый Мак-Кри. Сколько же долгих месяцев прошло с тех пор, как мой сын ее читал мне. Шут его знает, сильно полюбились мне эти греки. Ты остановился на середине. Да, хорошо сегодня на улице, сынок. Ступай отдохни, ты наработался за неделю. А я уже привык к этому стулу у окна и к трубке.

— Пел... Пелопоннес, вот мы на чем остановились, — сказал Данни. — А никакой не гиппопотам. Там началась война. И тянулась ни шатко, ни валко, не соврать бы, тридцать лет. Вот тут под заголовком сказано, что в 338 году до Рождества Христова один малый из Македонии, Филипп, прибрал к рукам всю Грецию, когда выиграл в сражении при Херо... Херонее. Сейчас почитаю.

Целый час, приложив ладонь к уху, старый Мак-Кри упивался событиями Пелопоннесской войны.

Потом он встал и ощупью добрел до двери на кухню. Миссис Мак-Кри нарезала к ужину холодное мясо. Она подняла голову. Из невидящих глаз старого Мак-Кри текли слезы.

— Слышала, как наш сын мне читает? — сказал он. — Другого такого не сыскать на всем белом свете. Вот я и получил назад свои глаза.

После ужина он сказал Данни:

— И правда, светлый день эта Пасха. Ну а теперь ты пойдешь провести вечер с Кэти. Все правильно.

— Кто здесь платит за квартиру и на чьи деньги покупают еду в этом доме? — сердито сказал Данни. — Я что, не имею права остаться? Нам еще после ужина надо прочесть про Коринфскую битву в 146 году, опять-таки до Рождества Христова, когда Греция, как там

сказано, стала не этой... неотъемлемой частью Римской империи. Или
я ничто в этом доме?

Пятое колесо

Перевод И. Бернштейн.

Люди в очереди теснее сплотили ряды; холод, холод пробирал до костей. Здесь в ожидании дарового ночлега скопились наносные отложения реки жизни, осевшие на мели в том месте, где сливаются Бродвей и Пятая авеню. Они постукивали стылыми подошвами об землю, поглядывали на свободные скамейки в сквере напротив, с которых их согнал Дед Мороз, и тихо переговаривались между собой на смеси языков и наречий. А с той стороны площади над ними в морозной дымке высился небоскреб «Утюг», святотатственно вперивший верхушку в самые небеса, точно и впрямь был Вавилонской башней, откуда этот праздный разноязыкий народ был выведен сюда личным крылатым уполномоченным Господа Бога.

Этот уполномоченный стоял на пустом ящике, головой возвышаясь над стадом своих козлищ, и проповедовал, обращаясь к редким, торопящимся мимо прохожим, каких заносило к нему холодным северным ветром. То был невольничий рынок. За пятнадцать центов вы покупали человека, передавали его в объятия Морфея, а вам зачитывалось на том свете.

Проповедник был сказочно серьезен и неутомим. Он ознакомился со списком всех добрых дел, которые можно предпринять на благо ближнему, и сделал для себя выбор, взявшись обеспечивать нуждающихся ночлегом по средам и воскресеньям. Тем самым на долю остальных филантропов оставалось еще только пять дней в неделю, и если бы они отнеслись к делу с такой же ответственностью, весь этот грешный город превратился бы в одну огромную уютную спальню, где каждый мог бы коротать часы, блаженно задавая храпака и пустив побоку социальные пьесы, сборщика квартирной платы и всякое предпринимательство.

Недавно пробило восемь; под сенью памятника генералу Уорту небольшой плотной массой центоносной руды толпились зеваки. Время от времени от нее кто-нибудь отделялся и скромно или демонстративно, небрежно или деловито вручал проповеднику свою

лепту мелкими ассигнациями или серебром. И сразу же вслед за этим его ассистент выраженного скандинавского окраса и такого же темперамента уводил в направлении ночлежного дома новую партию искупленных. А проповедник знай себе взывал к прохожим, и речь его блистала отсутствием каких-либо красот и подавляла грозной монотонностью правды. Прежде чем картина очереди за ночлегом померкнет перед нашим взором, я хотел бы привести в пример одно из его положений — то хотя бы, которое он развивал сейчас. Оно достойно служить девизом всех на свете обществ по борьбе с алкоголизмом.

«Кто пьет одно дешевое виски, никогда не сопьется». Слышите, все пьяницы и забулдыги, от начинающих с маленькой рюмочки и до кончающих нищей могилкой? Это про вас.

В задних рядах очереди бесприютных стоял высокий молодой человек с красивым лицом, которое он, впрочем, по-черепашьи втягивая голову в плечи, прятал в воротник своего пальто. То было хорошее драповое пальто; и брюки на нем тоже еще хранили следы портновской утюжки. Должен, однако, по совести предупредить мою читательницу — продавщицу из галантерейного магазина: если она думает, что это юный граф, временно оказавшийся без гроша в кармане, пусть сразу же закроет книгу. Ибо это был не кто иной, как Томас Мак-Квейд, кучер без места, уволенный за пьянство месяц назад и теперь докатившийся до очереди в ночлежку.

Если вы живете в старой части Нью-Йорка, вам наверняка знаком семейный выезд Ван-Смитов: в упряжке пара могучих гнедых тяжеловозов и коляска в форме ванны. В ванне друг против дружки возлежат две старые дамы Ван-Смит, и в руках у них черные зонты, наподобие балдахин. До своего падения Томас Мак-Квейд правил ван-смитовскими рысаками, а им самим правила ван-смитовская горничная Энни. Но так уж прискорбно устроена жизнь, что гвоздь в сапоге, или отсутствие нужного товара на прилавке, или зубная боль способны на время затмить божественный свет самому истому купидонопоклоннику. А Томас терпел сейчас значительные неудобства. И его в данную минуту не столько заботила утрата возлюбленной, сколько раздражало присутствие неких порхающих и пляшущих в воздухе, ползающих и пресмыкающихся по асфальту существ, которых больные нервы вполне правдоподобно рисовали ему

вблизи холодного бивака этой армии бездомных. Четыре недели на одном виски с галетами, колбасой или соленым огурцом часто дают такой психо-зоологический эффект. И теперь, доведенный до крайности, злой, продрогший и одолеваемый призраками, он испытывал потребность в человеческом участии и общении.

Рядом с ним в очереди стоял молодой человек примерно одного с ним возраста в поношенной, но аккуратной одежде.

— А у тебя какой диагноз, приятель? — с бесцеремонностью, естественной между братьями по несчастью, обратился к нему Томас. — Горькая? У меня — она, голубушка. Поглядеть на тебя, так на попрошайку ты не похож. И я тоже не из таковских. Еще месяц назад я охаживал вожжами двух могучих першеронов, которые катили по Пятой авеню резвее призовых скакунов. А посмотри на меня теперь! Ну а тебя каким ветром занесло на эту распродажу ночлежных мест по сниженным ценам?

Молодому человеку, как видно, пришлось по душе веселые речи отставного кучера.

— Да нет, — с улыбкой ответил он. — Нельзя сказать, что моя беда от алкоголя, если, конечно, не считать алкогольным напиток, что подносит нам Купидон. Я неразумно женился — по мнению моих неумолимых родичей. Год прожил безработным, потому что работать не научен, потом четыре месяца провел в больницах. Жене с ребенком пришлось вернуться к ее матери, а меня только вчера выписали. Денег у меня нет ни цента. Вот и вся моя скорбная повесть.

— Н-да, невесело, — сказал Томас. — Сам-то человек всегда перебьется. А вот женщин с ребятишками жалко.

В это мгновение на Пятую авеню, гудя мотором, выехал автомобиль — такой роскошный, такой красный, такой мощный, и шел он на таком плавном ходу и так беззастенчиво превышал при этом дозволенную скорость, что даже понурые ночлежники подняли головы. На левом боку у него висела запасная шина.

В тот миг, когда великолепное авто поравнялось с очередью, зажимы на шине не выдержали, она упала на асфальт, упруго подскочила и покатила след за удаляющимся автомобилем.

Сразу же оценив ситуацию, Томас Мак-Квейд поспешил отделиться от паствы проповедника и ринулся на мостовую. За тридцать секунд он настиг катящуюся шину, схватил, вскинул на

плечо и лихо припустился догонять автомобиль. Люди на тротуарах кричали, свистели и размахивали тростями, чтобы привлечь внимание сидящих в машине к предприимчивому Томасу.

Самое малое — доллар, так считал Томас, следовал ему по справедливости от этого великолепного автомобилиста в награду за услугу. Меньше у него совести не хватит.

В двух кварталах от места происшествия мотор, наконец, остановился. Внутри сидел маленький темнокожий шофер в толстом кашне, а сзади — большой важный господин в великолепной котиковой шубе и в цилиндре.

В своей лучшей кучерской манере Томас любезно протянул беглую шину владельцу и при этом выразительно посмотрел на него тем глазом, который у него меньше покраснел, в знак того, что здесь готовы принять доллар-другой в звонкой монете, а можно и ассигнациями, и даже более крупного достоинства тоже.

Но этот красноречивый взгляд не был правильно истолкован. Господин в котике взял из рук отставного кучера шину, положил ее внутрь автомобиля и, пристально взглянув ему в лицо, пробормотал что-то непонятное.

— Странно... Очень странно, — были его слова. — Иногда, в отдельных случаях, даже мне самому начинает казаться, что Халдейский Хироскоп дал верный ответ. Возможно ли это?

Затем, уже не столь загадочными словами, он обратился к Томасу, в надежде и ожидании стоящему подле:

— Благодарю вас, сэръ, за любезное спасение моей шины. Мне хотелось бы, если позволите, задать вам один вопрос. Знакомо ли вам семейство Ван-Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер, по Северной стороне?

— Еще бы, — ответил Томас. — Я и сам там проживал. Раньше, но, увы, не теперь.

Господин в котике распахнул дверцу машины.

— Садитесь, прошу вас, — сказал он. — Вас ждут.

Томас Мак-Квейд повиновался, удивляясь, но не колеблясь. Сидеть в автомобиле, несомненно, приятнее, чем стоять в очереди за ночлегом. Укутанный пледом, он предался плавному бегу мотора и тут на досуге задумался о странном приглашении.

— Наверно, у него просто мелочи нет, — рассудил отставной кучер. — Эти важные господа из высшего света вообще не носят с собой денег. Вот довезет меня до ближайшей забегаловки, где у него открытый счет на предъявителя физиономии, — и пожалуйста вытряхиваться. Ну, во всяком случае, с гигиеническими ночевками на свежем воздухе у меня пока что покончено.

Со своей стороны, загадочный автомобилист из глубины котиковой шубы тоже, по-видимому, дивился странностям жизни. «Непонятно! Немыслимо! Невероятно!» — явственно твердил он себе под нос.

Автомобиль углубился в район Семидесятых улиц, свернул на восток, проехал с полквартиры и остановился перед шеренгой богатых домов с широкими лестницами, ведущими к подъездам.

— Окажите мне любезность и войдите в мой дом, — сказал господин в котике, когда они ступили на твердую землю.

«Видно, собрался раскошелиться как следует», — подумал Томас, переступая порог.

В холле было полутемно. Хозяин провел его в дверь налево, плотно прикрыл ее за собой, и они очутились в полнейшей темноте. Вдруг вверху зажегся большой, причудливо изукрашенный шар, бледным светом озарив всю огромную комнату, — убранства роскошнее Томас не видел ни на сцене, ни в книжках с картинками.

Стены покрывал пышный пурпурный штоф, расшитый фантастическими золотыми фигурами. В глубине висел тяжелый сборчатый занавес, тускло-золотой с серебряными звездами и полумесяцами. Мебель была вся дорогая и необыкновенная. А ноги отставного кучера просто утопали в ковре, пушистом и мягком, как снежный сугроб. Здесь и там стояли какие-то замысловатые столики или подставки под черными бархатными покрывалами.

Томас Мак-Квейд одним глазом окинул всю эту роскошь, а другим поискал ее царственного владельца. Но тот непонятным образом исчез.

— Вот это да! — сказал себе Томас. — Колдовской притон, что ли? Кажется, начинаются приключения, как в «Тайнах Моравских братьев». Но куда девался меховой господин?

В это мгновение чучело совы на эбеновой жерди под лампой вдруг медленно подняло крылья, и одновременно глаза его зажглись

ослепительным электрическим светом.

С перепугу Томас выругался, схватил со стола подвернувшуюся под руку бронзовую статуэтку Гебы и со всей силы запустил ее в ужасную сверхъестественную птицу. Сова вместе с подставкой рухнула на пол. Тотчас же раздался щелчок, и ряд электрических ламп по стенам и потолку залил комнату матовым светом. Золотой занавес раздвинулся, и появился таинственный автомобилист. Он оказался высок ростом, облачен в черный фрак безупречного покроя и в наилучшем вкусе, имел шелковистую рыжеватого цвета бороду клином и довольно длинную волнистую шевелюру, расчесанную на прямой пробор. Большие притягивающие глаза с оккультной поволокой довершали эту впечатляющую картину. Если вы в состоянии вообразить русского великого князя в тронном зале восточного раджи, где происходит прием заезжего императора, это даст вам кое-какое представление о его величавом облике. Но Томас Мак-Квейд был слишком близок к черным видениям белой горячки, чтобы предаться таким многокрасочным ассоциациям. Ему лощенный и слегка устрашающий хозяин квартиры напомнил зубного врача.

— Понимаете, какое дело, док, — сокрушенно сказал он. — Эта ваша райская пташка на ветке... Надеюсь, я не разбил ей горлышко. Потому что я чуть не опупел, когда она вдруг засветила мне в лицо свои фонари, и со страху запузырил в нее вон той медной красоткой, что торчала тут у вас на стойке.

— Это всего лишь механическая игрушка, — сказал господин, пренебрежительно поведя рукой. — Могу ли я просить вас присесть, пока я буду объяснять, зачем привез вас к себе? Психологическое обоснование моих поступков вас едва ли может интересовать, поэтому я перейду непосредственно к делу. Позволю себе для начала сослаться на ваше признание, что вам знакомо семейство Ван-Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер по Северной стороне.

— А что, из серебра у них что пропало? — язвительно осведомился Томас. — Драгоценностей каких недосчитались? Ясно, знакомо. Может, старые леди зонты потеряли? Ну, знакомы они мне, что с того?

Великий князь потер свои белые руки.

— Чудесно! — вполголоса промолвил он. — Превосходно! Неужто же мне и самому придется уверовать в Халдейский Хироскоп?

Позвольте мне со всей определенностью сказать вам, — продолжал он уже громче, — что вам совершенно нечего опасаться. Напротив того, я могу, мне кажется, вам обещать счастливые перемены. Посмотрим, посмотрим.

— Может, они зовут меня обратно? — спросил Томас, и отзвук былой профессиональной гордости закрался в его голос. — Обещаю, что исправлюсь и покончу с выпивкой, если меня согласятся испытать еще раз. Но вы-то как об этом прослышали, док? Ей-богу, я в жизни не видывал такого шикарного бюро по найму, фонари в виде сов и все такое прочее.

Любезный хозяин сладко улыбнулся и попросил извинить его на несколько минут. Он вышел на улицу и дал краткое указание шоферу, который ждал у подъезда. А сам, вернувшись в таинственную комнату, сел рядом с гостем и стал занимать его остроумной и приятной беседой, да так успешно, что бедный искатель дарового ночлега вскоре совсем позабыл про уличный холод, от которого он так недавно и так чудесно был избавлен. Слуга принес ему нежнейшей холодной дичи, и сладкого печенья, и стакан волшебного вина; и Томас почувствовал себя утопающим в роскоши «Тысячи и одной ночи». Полчаса пролетели как одно мгновение; и вот у дверей протрубил клаксон возвратившегося автомобиля; при этих звуках великий князь сразу вскочил и снова любезно попросил извинить его на минуту.

В парадные двери вошли две тепло укутанные дамы, хозяин дома гостеприимно встретил их, провел по коридору и ввел в комнату поменьше, которую отделял от огромной комнаты-гостиной толстый двойной занавес. Здесь обстановка была еще изысканнее и прекраснее. На столике розового дерева с золотой инкрустацией были разложены белые листы бумаги и стоял какой-то треугольный инструмент на колесиках, похожий на игрушку, но по виду — из чистого золота.

Та из дам, что была выше ростом, откинула с лица черную вуаль и распахнула мантию. Она оказалась пятидесятилетней женщиной с морщинистым, печальным лицом. Вторая, помоложе и покруглее, присела на стул поодаль и чуть позади, как полагается прислуге или компаньонке.

— Вы послали за мной, профессор Черубуско, — устало проговорила старшая. — Надеюсь, на этот раз вы сможете сообщить

мне нечто более определенное, чем обычно. Я уже почти потеряла веру в ваше искусство. Я бы и сегодня не откликнулась на ваш зов, но уступила настояниям сестры.

— Мадам, — с великокняжеской усмешкой сказал профессор, — истинное искусство не обманывает. Порой, чтобы найти верную потенциальную сверхчувственную ветвь, нужно затратить много времени. Карты, магический кристалл, звезды, формула Сарацина и оракул из По оказались бессильны, это правда. Однако теперь обнаружена, наконец, верная сверхчувственная дорога. Халдейский Хироскоп увенчал наши поиски успехом!

Голос профессора зазвенел; чувствовалось, что он сам верит в то, что говорит. Пожилая дама посмотрела на него с пробудившимся интересом.

— Но ведь его слова, когда я наложила на него ладони, были бессмыслицей, — возразила она. — Так о чем вы говорите?

— Вот его слова, — произнес профессор Черубуско, поднимаясь во весь свой великолепный рост. — «Он явится в колеснице на пятом колесе».

— Я не много в своей жизни видела колесниц, — заметила пожилая дама, — но знаю, что колесницы о пяти колесах не видела ни разу.

— Прогресс, — объяснил профессор. — Все дело в прогрессе науки и техники. Хотя, если быть совсем точным, речь идет не столько о пятом колесе, сколько о запасной шине. Одновременно шел прогресс и в оккультных науках. Мадам, я повторяю: Халдейский Хироскоп принес нам успех. Я могу не только дать ответ на поставленный вами вопрос, но также и предъявить вам самое вещественное доказательство.

Пожилая дама утратила равнодушие неверия и покой неподвижности.

— О, профессор! — воскликнула она, всплеснув руками. — Когда?... Где?... Он нашелся? Не терзайте меня неведением.

— Прошу извинить меня на несколько коротких мгновений, — ответил профессор Черубуско. — Думаю, что смогу наглядно доказать вам все могущество истинного Искусства.

Томас мирно дожевывал хлеб с дичью, когда перед ним внезапно возник ученый чародей.

— Готовы ли вы возвратиться под прежний кров, если вам гарантируют доброжелательный прием и былую благосклонность? — спросил он с любезной, царственной улыбкой.

— А что, я похож на чокнутого? — ответил Томас. — С меня довольно этой безлошадной жизни. Но только возьмут ли они меня назад, вот в чем вопрос. Старуха всегда стоит на своем крепче новой спицы в ступице.

— Мой дорогой юноша, — проговорил хозяин дома, — она разыскивает вас по всему свету.

— Отлично! — воскликнул Томас. — Считайте, что место за мной. Ихняя упряжка пузатых дромадеров, которых они зовут лошадьми, здорово портит руку первоклассному кучеру вроде меня; но все равно я берусь за эту работу, док. У них совсем не так уж и плохо служить.

Тут слащавую улыбку на лице Багдадского калифа как рукой сняло. Он посмотрел на отставного кучера с пронзительным подозрением. И сухо сказал: — Позвольте мне узнать ваше имя и фамилию.

— То есть вы меня разыскиваете, а как звать не знаете? — удивился Томас. — Вот это сыщик! Не иначе как вы из центрального бюро расследований. Да я же Томас Мак-Квейд, целый год отработал шофером при ван-смитовской паре слонов, а месяц назад меня рассчитали за то, что... Ну, вы сами видели, как я разделался с вашей совой. Я в два счета пропил все, что у меня было, и когда отвалилась шина с вашего сверхскоростного драндулета, я как раз стоял с бродягами у памятника Уорту и ждал, чтобы мне подали милостыню на ночлежку. Ну как, почем нынче ценятся вразумительные ответы?

Но, к величайшему своему удивлению, Томас почувствовал, что его хватают за шиворот и, ни слова не говоря, тащат к парадной двери, каковая распахивается перед ним, и он с разгону слетает вниз по ступеням, приведенный в движение беспощадно-недвусмысленным пинком калифской туфли.

Едва обретя ясность рассудка и устойчивость тела, отставной кучер со всех ног пустился обратно к Бродвею.

— Ненормальный, — определил он на бегу таинственного автомобилиста. — Такие, видно, у него забавы. А все-таки мог бы раскошелиться на доллар-другой. Мне вон теперь надо торопиться

назад в очередь бездомных любителей дарового ночлега, не то их всех успеют распроповедовать по кроваткам.

Когда Томас завершил свою двухмильную пробежку оказалось, что из всей армии бесприютных налицо лишь взвод в восемь — десять человек. Он занял положенную новоприбывшему позицию на левом фланге задней шеренги. Впереди него стоял тот самый молодой человек, который рассказал ему о больнице и обмолвился о жене и ребенке.

— Как жаль, что я снова вижу вас в этой очереди, — обернувшись к Томасу, сказал молодой человек. — Я думал, вам подвернулось что-то получше.

— Мне-то? — отозвался Томас. — Да я просто пробежался вокруг квартала, чтобы согреться. А публика, я вижу, не очень-то сегодня спешит со своими лептами на богоугодное дело.

— В такую погоду, — вздохнул молодой человек, — благотворительность не только, по пословице, начинается дома, но там же и кончается.

В это время проповедник и его флегматичный ассистент затянули последний псалом, взывая к Провидению и к прохожим. Те из искателей ночлега, у которых температура в горле еще не упала ниже точки замерзания, стали уныло и фальшиво им подтягивать.

И вдруг на половине второго куплета Томас увидел энергичную молодую особу в развевающейся одежде, смело шагавшую навстречу ветру и поперек мостовой с противоположного тротуара прямо к нему.

— Энни! — завопил он и бросился ей навстречу.

— Ах, глупый ты, глупый! — плача и смеясь, говорила Энни, повиснув у него на шее. — Зачем ты это сделал?

— Это все она, горькая, — кратко объяснил Томас. — Но впоследствии — ни-ни. Ни капли. — Он привел ее на тротуар. — А как ты меня заметила?

— Я приехала за тобой, — ответила Энни, крепко держась за его рукав. — Ах ты, глупый, глупый! Профессор Черубуско сказал нам, где тебя найти.

— Профессор Черубу?... Не знаю такого. Он в какой пивной работает?

— Он ясновидящий, Томас, самый великий в мире. Он говорит, что видел тебя с Халдейским телескопом.

— Врет, — ответил Томас. — Я его не брал. Сроду у меня не было чужих телескопов.

— И еще он сказал, что ты явился в коляске о пяти колесах, или в колеснице, что ли.

— Энни, — вразумляющим тоном сказал Томас, — ну подумай сама. Была бы у меня колесница или там коляска, я давно бы завалился в ней спать. Не дожидался бы, пока меня убаюкают проповедями и псалмами.

— Послушай, ты, глупый человек. Хозяйка говорит, что возьмет тебя назад. Я ее упросила. Но только смотри! И можешь вернуться сегодня же. Твоя комната над конюшней ждет тебя.

— Вот это да! — прочувствованно воскликнул Томас. — Энни, ты лучшая из женщин. Но когда все эти чудеса произошли?

— Нынче, у профессора Черубуско. Он прислал свой автомобиль за хозяйкой, а она взяла с собой меня. Я и раньше там с ней бывала.

— А каких наук он профессор-то?

— Ясновидящий он и чародей. Хозяйка обращается к нему за советами. Он знает все на свете. Только хозяйке от него до сих пор проку нет, хотя она извела на него сотни долларов. Но зато он сказал, что звезды открыли ему, где можно найти тебя.

— А чего старухе понадобилось от этого Чертопузко?

— Семейная тайна, — ответила Энни. — Ну, хватит вопросов. Поехали домой, глупый ты человек.

И они пошли по улице, но Томас вдруг остановился.

— У тебя есть при себе деньги, Энни? — спросил он.

Энни бросила на него подозрительный взгляд.

— Да нет, знаю я эти твои взгляды, — заверил ее Томас. — Ничего подобного. Ни в жизнь, ни капли. Просто там в очереди со мной стоял один малый, которому худо. Он парень славный, и у него есть дети или жены, что ли, и он на больничном листе. Не от выпивки. Если у тебя найдется полдоллара, чтобы ему заплатить за приличный ночлег, было бы самое милое дело.

Пальцы Энни погрузились в недра кошелька.

— Ну конечно, есть у меня деньги, — говорила она. — Полно денег. Целых двенадцать долларов. — И вдруг, с неискоренимой

женской подозрительностью к доброте за чужой счет, добавила: — Только приведи его сюда, я на него сперва посмотрю.

Томас отправился исполнять ее повеление. Болезненный юноша из очереди любезно согласился пойти с ним. Но не успели они приблизиться, как Энни, рывшаяся в своем кошельке, подняла голову и сразу завизжала:

— Ой! Мистер Уолтер!

— Это вы, Энни? — слабым голосом пробормотал молодой человек.

— Ой, господи! Мистер Уолтер! А хозяйка-то где только вас не искала!

— Матушка хочет меня видеть? — спросил тот, и краска прилила к его бледным щекам.

— Да говорю вам, она где только вас не искала! Еще бы не хочет. Она хочет, чтобы вы вернулись домой. Обращалась и в полицию, и в морг, и в сыск, и к юристам, и в газеты объявления давала, и награду назначала, чего не перепробовала! Под конец к ясновидящему подалась. Вы ведь поедете домой, мистер Уолтер, прямо вот сейчас, да?

— С удовольствием, раз она меня зовет, — ответил молодой человек. — Три года — долгий срок. Но только, боюсь, мне придется добираться пешком, если, конечно, трамваи сегодня не развозят пассажиров бесплатно. Раньше я на своих ногах обгонял пару гнедых, запряженных в матушкину коляску. Живы ли еще старые коняги?

— Живехоньки, — с чувством отвечал Томас. — Еще лет десять пробегают. Продолжительность жизни королевского слонобуса битюгиссимуса — сто сорок девять лет. Я ихний кучер, вторично прикомандирован на должность пять минут назад. Давайте поедем все вместе на трамвае... если... э-э-э... Энни заплатит за проезд.

Они вошли в вагон, и Энни дала обоим блудным сынам по пятаку на билет.

— Смотри-ка, как она швыряется деньгами, — съязвил Томас.

— В этом кошельке, — торжественно ответила Энни, — ровно одиннадцать долларов и восемьдесят пять центов. Завтра же возьму все эти деньги и отнесу профессору Черубуско, потому что он — самый великий человек на свете.

— Видно, он и впрямь лихой парень, — сказал Томас, — раз умеет делать такие штуки. Я рад, что духи сообщили ему, где меня найти. Если ты дашь мне адрес, я бы как-нибудь заехал и пожал ему руку.

При этом Томас слегка пошевелился на жестком трамвайном сиденье, и ссадины в нескольких местах на его теле сразу же дали себя знать.

— Послушай, Энни, — озадаченно сказал он, — может, это, конечно, еще игра винных паров, но я вроде бы припоминаю, что будто бы ехал в автомобиле с каким-то важным типом, и он привез меня в дом, а там были орлы и электрические фонари. Он угостил меня печеньем и какими-то небылицами; а потом дал пинка и спустил с лестницы. Ежели это мне примерещилось с перепою, откуда тогда у меня синяки?

— Ладно, помалкивай, — вздохнула Энни.

— Если бы я узнал, где он живет, этот тип, — сказал Томас в заключение, — я бы как-нибудь заехал и набил ему морду.

Поэт и поселянин

Перевод И. Бернштейн.

Недавно один мой знакомый поэт, всю жизнь проведший в тесном общении с природой, написал стихотворение и принес его редактору.

То была прелестная пастораль, полная живым дыханием полей, пением птиц и ласковым лепетом журчащих ручьев.

Когда поэт, лелея мечту о бифштексе, зашел в другой раз, узнать, как дела, ему вернули рукопись с отзывом: «Очень искусственно».

Мы, его друзья, собрались за столом, чтобы заесть свое возмущение скользкими спагетти и запить дешевым вином.

И тут-то мы вырыли редактору яму. Среди нас был Конант, известный беллетрист, который всю свою жизнь ходил по асфальту а буколические сцены наблюдал разве только из окна вагона, да и то с душевным отвращением.

Конант тоже написал стихи, он озаглавил их «Газель у родника». То было типичное сочинение человека, который считает, что амариллис не цветок, а пастушка у Феокрита, а все свои сведения о птицах почерпнул из бесед с официантами в ресторане. Конант поставил под стихотворением свою подпись, и мы отправили его тому же редактору.

Все это, конечно, имеет весьма отдаленное касательство к моему рассказу.

Назавтра утром, в то самое время, когда редактор прочел первую строчку стихотворения Конанта, с парома на Западной стороне сошел некто и медленно побрел вверх по Сорок второй улице.

Этот приезжий был молодым человеком с голубыми глазами, разинутым ртом и волосами точно такого цвета, как у бедной сиротки (впоследствии оказавшейся графской дочкой) из пьесы мистера Блейни^[15]. Брюки у него были плисовые, руки торчали из коротких рукавов куртки, а хлястик приходился под лопатками. Одна штанина была заправлена в сапог, другая болталась поверх голенища. Его соломенной шляпе явно не хватало отверстий для ушей, ибо фасоном она совершенно напоминала лошадиный головной убор. В руке он

сжимал саквояж, но описать этот предмет обихода мы не беремся. Даже бостонец не согласился бы носить в таком на службу свои бутерброды и книги. А над ухом у приезжего поселянина среди пшеничных прядей торчал клочок сена — деревенское рекомендательное письмо, гербовое свидетельство невинности, значок обитателя райских куш, долженствующий оградить его от искушенных городских злодеев.

Горожане шли ему навстречу и понимающе улыбались. Но когда поселянин, стоя в сточной канаве, стал задирать голову на небоскребы, они перестали улыбаться и перестали на него поглядывать. Это уже давно надоело. Кое-кто правда еще задерживал взгляд на его саквояже, чтобы узнать, какие развлечения Кони-Айленда или новые сорта жевательной резинки он рекламирует; но по большей части на него просто не обращали внимания. Даже мальчишки-газетчики и те скучливо морщились, когда он, точно клоун в цирке, шарахался от извозчиков и трамваев.

На углу Восьмой авеню стоял Шулер Гарри, топорща крашенные усы и благодушно поглядывая вокруг. Его тонкая, артистическая натура не могла не страдать при виде такого актерского перехлеста. Он подкрался и стал рядом с поселянином, когда тот, развесив губы, любовался витриной ювелирного магазина.

— Перебор, приятель, — сказал Гарри, критически покачав головой. — Это уж ты лишку хватил. Не знаю, по какой ты части работаешь, но с бутафорией у тебя явный перебор. Клок сена, например, — это даже у Прокторской шайки теперь не в ходу.

— Я вас не понимаю, мистер, — ответил ему простак. — На что мне шайки? Я не в баню приехал из Ольстера, а просто поглядеть на город, потому как с сенокосом мы управились раньше срока. Ну и огромный же городина! Я раньше думал, Поукипси всем городам город, но этот ваш Нью-Йорк еще раз в пять побольше будет.

— Да? Ну, как знаешь, — проговорил Шулер Гарри, подняв брови. — Я ведь не собираюсь соваться, дело хозяйское. Просто вижу, человек перестарался, надо, думаю, совет подать. Что ж, желаю удачи, хоть и не знаю, какой у тебя бизнес. Пошли, пропустим по одной.

— Я и впрямь не откажусь от светлого пивка, — сказал поселянин.

И они отправились в кафе, где у завсегдатаев были каменные лица и бегающие глаза, и сели со своими кружками за столик.

— Вот ладно, что я вас встретил, мистер, — сказал Мякинная Башка. — Сыгранем, может, в семерку, а? У меня и картишки с собой.

И он выудил из своего допотопного саквояжа колоду карт — небывалую, бесподобную колоду, засаленную жареным беконом и перепачканную черноземом полей.

Шулер Гарри громко и коротко рассмеялся.

— Нет уж, брат, — твердо ответил он. — Меня этим твоим деревенским видом не купишь. И все-таки я скажу, что ты перебарщиваешь. После семьдесят девятого года так ни в какой глуши уже не ходят. С такой оснасткой ты в Бруклине и парой старых часов не разживешься.

— Вы думаете, у меня денег нету? — гордо сказал Мякинная Башка. Он вытащил на свет Божий плотно скатанную пачку ассигнаций толщиной с кулак и положил на стол.

— Моя доля за бабкину ферму, — пояснил он. — Девять с половиной сотен. Я и надумал — съезжу в город, может, какое дело пригляжу, деньгам применение сделаю.

Шулер Гарри взял пачку в руки и посмотрел на нее чуть ли не с уважением.

— Бывает хуже, — заключил он тоном знатока. — Но все равно в такой одежке ничего у тебя не выйдет. Заведи, брат, себе ботинки цвета беж, черный костюм, соломенную шляпу-канотье с пестрой лентой и толкуй про Питтсбург, грузы и тарифы, да попивай херес за завтраком — тогда, может, и сбудешь эти сомнительные бумажки.

— По какой он части? — любопытствовал кое-кто из присутствующих, когда Мякинная Башка собрал свои оболганные ассигнации и вышел на улицу.

— Видно, фальшивая монета, — пожал плечами Гарри. — А может, он из сыскного отделения. Или это какой-то новый трюк. Слишком уж у него деревенский вид. Не может же быть... мне вдруг пришло в голову... но ведь не может же быть, что это у него настоящие деньги...

А Мякинная Башка побрел дальше. Вскоре его, наверно, опять одолела жажда, потому что он нырнул в винный погребок за углом и заказал пива. У стойки толпилось несколько крайне темных

личностей. При взгляде на него глаза их загорелись; но перед лицом такой демонстративной, в нос шибящей деревенской неотесанности интерес их быстро сменился опасливой подозрительностью.

Мякинная Башка перекинул через стойку свой саквояж.

— Пусть постоит у вас часок-другой, мистер, — сказал он, жуя конец ядовитой желтой сигары. — Я погуляю и зайду за ним. Да смотрите в оба: в нем девять с половиной сотен, а вы небось никогда бы и не подумали, на меня глядя-то.

В это время с улицы донеслись звуки фонографа, воспроизводящего игру духового оркестра, и Мякинная Башка ринулся поглазеть на это диво — только хлястик под лопатками мелькнул.

— Дели на всех, Майк, — сказали темные личности, открыто перемигиваясь.

— Да бросьте вы, — отвечал буфетчик, пинком загоня саквояж в дальний угол. — Думаете, я так легко купился? Сразу видно, что он только прикидывается. Какой он фермер? Шестерит у Мак-Аду и все. Ну и пересолил же он, между прочим. Во всех штатах нет медвежьего угла, где бы сейчас так одевались. Девять с половиной сотен, как бы не так. Девять с половиной дырявых носовых платков — это вернее.

Вдоволь натешившись чудесным изобретением мистера Эдисона, Мякинная Башка вернулся за саквояжем. И потащился с ним вдоль по Бродвею, широко раскрытыми голубыми глазами впивая все, что попадало в поле его зрения. Но Бродвей по-прежнему не принимал его и только мерил взглядами и провожал презрительными улыбками. Из всех старых шуток эта казалась самой знакомой и самой надоевшей. Приезжий поселянин был куда комичнее, нелепее и неотесаннее, чем все, что можно вообразить в хлеву, на пашне или в водевиле, и оттого возбуждал лишь досаду и подозрение. И сено у него за ухом было такое настоящее, такое свежее, оно так благоухало цветущим лугом и так громогласно напоминало о сельской глуши, что даже владелец игры в «скорлупки» при виде его собрал бы свои принадлежности и ушел восвояси.

Мякинная Башка уселся на каких-то ступенях и снова извлек из саквояжа свою пачку желтеньких. Верхнюю двадцатку он от нее отслоил и поманил к себе мальчишку-газетчика.

— Сынок, — сказал он, — сбегай-ка куда-нибудь да разменяй мне эту бумажку. А то я остался совсем без мелочишки. Получишь пятак, ежели скоро справишься.

На лице малолетнего газетчика сквозь грязь проступило оскорбленное выражение.

— Ишь ты какой хитрый. Сам меняй свои фальшивые деньги. И одежда на тебе тоже фальшивая. За сто шагов видать.

На углу стоял быстроглазый зазывала игорного дома. Он увидел поселянина и сразу принял холодный, добродетельный вид.

— Мистер, — обратился к нему поселянин. — Я слышал, у вас тут в городе есть заведения, где можно перекинуться в картишки или, сказать к примеру, в лото. У меня в этом саквояже — девять с половиной сотен, я сам буду из Ольстера, приехал посмотреть, чего у вас тут есть. Не скажете, где человеку поставить на карту долларов этак девять-десять? Хочу потешиться, а потом, глядишь, откуплю себе какое-нибудь дело.

Зазывала поджал губы и стал разглядывать белое пятнышко на ногте своего левого мизинца.

— Да ладно тебе, приятель, ей-богу, — укоризненно сказал он. — Они там в Главном управлении, наверно, сбрендили, если шлют людей в этаким болванском виде. С такой рожей ты к игорному дому на пушечный выстрел не подойдешь. Был уже один, мистер Скотти из Долины Смерти, он тебя давно опередил по части деревенского реквизита. Катись-ка ты отсюда. Нет, я не знаю значных мест, где можно поставить полицейский патруль против червонного туза.

И тогда, в который раз отвергнутый великим городом, столь чутким ко всякой искусственности, Мякинная Башка уселся на краю тротуара и созвал свои мысли на конференцию.

— Тут все дело в одежде, — вынес он заключение. — Не иначе. Они думают, что я деревенщина, и не хотят со мной знаться. У нас в Ольстере никто не смеялся над этой шляпой. Но, видать, если хочешь, чтобы ньюйоркцы от тебя носы не воротили, одевайся по-ихнему.

И Мякинная Башка отправился в большой универсальный магазин, где его встретили радостно, и потирали руки, и снимали с него всяческие мерки, любовно натягивая рулеточную ленту над выпуклостью грудного кармана, где он всего-то хранил на счастье маленький кукурузный початок с четным количеством зерен. Вскоре

посыльные с коробками и пакетами уже потянулись к его гостинице на Бродвее...

А в девять часов вечера с крыльца гостиницы спустился некто, в ком Ольстер не признал бы своего. Ботинки цвета беж; канотье моднейшего фасона; светло-серые брюки свежевыутюжены; из нагрудного кармана элегантного английского пиджака торчит ярко-синий платок. Воротничок — ослепительной белизны, в пору на витрину прачечного заведения; пшеничные волосы аккуратно подстрижены; и клочка сена за ухом, разумеется, нет.

Минуту он постоял во всем своем великолепии, точно праздный бульвардье, обдумывающий маршрут вечерних развлечений. И пошел по людной, ярко освещенной улице легкой упругой походкой миллионера.

Но пока он там стоял, его успела заметить пара самых наметанных и зорких глаз в городе. Крупный брюнет со светлыми глазами одним движением бровей подозвал к себе двух сообщников, топтавшихся у подъезда гостиницы.

— Фермер с монетой, — сказал брюнет. — Зеленый, как огурчик. За мной!

В половине двенадцатого в полицейский участок на Сорок седьмой улице ворвался пострадавший со сбивчивой, скорбной повестью на устах.

— Девять с половиной сотен! — задыхаясь, твердил он. — Вся моя доля за бабкину ферму!

Дежурный сержант с трудом добился от него имени — Джеймс Булланг, проживающий в Долине Акаций, округ Ольстер; а затем стал записывать, как выглядели обидчики.

Когда Конант зашел к редактору справиться о судьбе своего стихотворения, его без задержек препроводили прямо в кабинет, уставленный статуэтками работы Родена и Дж. Дж. Брауна.

— Едва я прочел первую строку «Газели у родника», — сказал ему редактор, — как сразу понял, что передо мной произведение человека, всю жизнь проведенного лицом к лицу с Природой. Меня не сбило с толку совершенство формы. Просто возникло такое чувство — прошу простить избитое сравнение, — будто живое, свободное дитя полей и лесов в модной городской одежде шагает по Бродвею. Одеванием не скроешь человека.

— Благодарю, — сказал Конант. — Чек, я надеюсь, будет, как всегда, в четверг?

Морали этого рассказа как-то спутались. Вот две на выбор: «Сиди у себя на ферме», или «Не пиши стихов».

Ряса

Перевод под ред. В. Азова.

В больших городах таинственные происшествия следуют одно за другим с такой быстротой, что читающая публика, равно как и друзья Джонни Белльчемберза, уже давно перестали выражать свое удивление по поводу его таинственного и необъяснимого исчезновения, случившегося год назад. Теперь тайна уже разгадана, но разгадка ее так необычайна и кажется столь недопустимой с обывательской точки зрения, что только немногие избранные, бывшие в близких отношениях с Джонни, вполне ей верят.

Как известно, Джонни Белльчемберз принадлежал к тесному избранному кругу общества. Не отличаясь тщеславием, свойственным многим представителям этого круга, которые стараются обратить на себя всеобщее внимание эксцентричными выходками и выставлением напоказ своего богатства, он все же всегда был *au courant* всего, что могло бы придать блеск его положению на высшей ступени общественной лестницы.

Он особенно славился своей манерой одеваться. В этом отношении он приводил в отчаяние всех своих подражателей. Всегда безукоризненно чистый и аккуратный, одетый с иголки, обладающий обширнейшим гардеробом, он, по общему признанию, одевался лучше всех в Нью-Йорке, а следовательно, и в целой Америке. Любой портной счел бы за счастье сшить ему костюм даром; подобный клиент явился бы бесценной рекламой. Его слабостью были брюки. Тут могло его удовлетворить только совершенство. Он также относился к малейшей складке не на месте, как другой к заплатке. Он нанял человека, который целыми днями только и делал, что утюжил эти принадлежности туалета, которых, кстати, у Белльчемберза было несметное количество. Друзья говорили, что он не мог носить одни и те же брюки дольше трех часов без смены.

Джонни исчез совершенно неожиданно. В течение трех дней его отсутствие не особенно беспокоило его друзей, но затем они начали

принимать обычные меры к розыску его. Но все было тщетно. Он не оставил ни малейшего следа. Тогда начали доискиваться причин, но и причин нельзя было найти. Врагов у него не было, долгов — также. Женщины не играли роли в его жизни. На текущем счету в банке у него лежало несколько тысяч долларов. Никаких странностей за ним не замечалось: наоборот, он отличался в высшей степени спокойным и уравновешенным характером. Все меры к розыску пропавшего были приняты, но без всякого результата. Этот случай был один из тех, — участившихся за последние годы, — когда человек исчезает, подобно сгоревшей свече, не оставив после себя даже дыма.

В мае месяце двое из друзей Белльчемберза, Том Айрз и Ланселот Джиллиам, решили предпринять прогулку по ту сторону океана. Разъезжая по Италии и Швейцарии, они однажды услышали про монастырь в Швейцарских Альпах, в котором можно было найти кое-какие достопримечательности, более интересные, чем обычные приманки для туристов. Монастырь считался почти недоступным для обыкновенных путешественников, так как был построен на горе с чрезвычайно крутыми склонами, окруженной пропастями. Для американцев он представлял интерес, благодаря трем обстоятельствам, которые, впрочем, никогда этим монастырем не рекламировались. Во-первых, монахи умели готовить совершенно исключительный нектароподобный напиток, который, по слухам, далеко превосходил и бенедектин и шартрез. Во-вторых, у них был огромный медный колокол, отлитый так чисто и правильно, что он не переставая звучал с тех пор, как в него позвонили в первый раз, триста лет назад. Наконец, утверждали, что ни один англичанин никогда не переступил порога монастыря. Айрз и Джиллиам решили, что эти слухи надо проверить.

Целых два дня они употребили на то, чтобы добраться, с помощью двух гидов, до монастыря Сен-Годро. Он возвышался на замерзшей, открытой ветрам скале, и снег лежал вокруг него предательскими сползающими кругами. Монахи, на обязанности которых лежало принимать гостей, встретили их очень радушно. Их угостили ликером, который показался им необычайно крепким и живительным. Они услышали звон огромного, вечно поющего колокола и узнали, что они действительно первые иностранцы, посетившие эти серые каменные стены, внутрь которых еще не

ступала нога беспокойного англичанина, успевшего заглянуть во все уголки земного шара.

В день прибытия, в три часа дня, молодые ньюйоркцы отправились вместе с добрейшим братом Христофором в длинный холодный коридор монастыря, чтобы увидеть шествие братии в трапезную. Монахи шли медленно, парами, наклонив голову и бесшумно ступая ногами, обутыми в сандалии, по выбитым каменным плитам. Когда они поравнялись с посетителями, Айрз внезапно схватил Джиллиама за руку.

— Посмотри, — взволнованно сказал он, — вон на того, который проходит как раз мимо тебя, — сюда, ближе к нам, — он держит руку у пояса. Провались я на этом месте, если это не Джонни Белльчемберз!

Джиллиам взглянул и узнал исчезнувшего законодателя мод.

— Каким чертом, — с удивлением сказал он, — занесло сюда Белля? Не может быть, Томми, чтобы это был он. Никогда не слышал, чтобы Белль отличался особой религиозностью. Откровенно говоря, приходилось слышать от него такие проклятия, когда он правил четверкой и у него что-нибудь не ладилось, что любая церковь предала бы его за них военно-полевому суду.

— Это Белль, вне всякого сомнения, — твердо сказал Айрз, — или же мне необходимо сейчас же отправиться к хорошему окулисту. Но кто бы мог подумать, Джонни Белльчемберз, король франтов, сливки общества, так сказать, занимается покаянием в этом холодильнике, одетый в купальный халат табачного цвета! У меня ум за разум заходит! Давай расспросим нашего приятеля, который нас принимал.

Отправились за разъяснениями к брату Христофору.

Монахи уже успели войти в трапезную. Он не понял, о ком говорили молодые люди. Белльчемберз? Да ведь поступающие в монастырь Сен-Годро отказывались от своих мирских имен, когда произносили обет. Гости желают поговорить с одним из монахов? Пусть они дадут себе труд пройти в трапезную и указать, с кем именно: отец настоятель, несомненно, даст нужное разрешение.

Айрз и Джиллиам прошли в залу, где обедала братия, и указали брату Христофору монаха, замеченного ими в коридоре. Да, это, несомненно, был Джонни Белльчемберз. Теперь они ясно видели его

лицо. Он сидел среди своих неопрятных товарищей, опустил глаза вниз, и ел суп из грубой глиняной миски.

Настоятель разрешил путешественникам свидание с монахом, и они стали ждать его в приемной. Когда он вошел, мягко ступая сандалиями, Айрз и Джиллиам оба остановились перед ним в полном недоумении и изумлении: это был Джонни Белльчемберз, но выглядел он совершенно другим человеком. На лице его отражались неизреченное спокойствие, радость достижения, полнейшее и совершеннейшее счастье. Он держался гордо и прямо, и в глазах его было ласковое, просветленное выражение. Он был чист и аккуратен, как, бывало, в Нью-Йорке, в прежние дни. Но какая разница в его костюме! Теперь, по-видимому, на нем была только одна одежда — длинная ряса из грубого коричневого сукна, стянутая у пояса веревкой и падавшая свободными, прямыми складками до полу. Он пожал руку своим гостям со свойственными ему изяществом и непринужденностью. Если чувствовалось какое-нибудь стеснение, то, во всяком случае, не Белльчемберз выказал его. В комнате не было стульев, и разговор пришлось вести стоя.

— Рад тебя видеть, старина, — сказал немного растерявшийся Айрз. — Не ожидал встретиться здесь с тобой. В общем, ты это недурно придумал. Большой свет надоел своей неискренностью. Представляю себе, как должно быть хорошо, когда откажешься от суеты и предашься... эээ... созерцанию и... э-э-э... молитвам и песнопениям и тому подобному.

— Эй, брось это, Томми, — весело сказал Белльчемберз. — Не бойся, я не стану тебя угощать высокопарными речами. Я проделываю все эти штуки вместе с остальной компанией, потому что это требуется правилами. Здесь ведь я брат Амвросий, понимаете? Мне дали ровно десять минут, чтобы поболтать с вами. Что это у тебя, Джиллиам, жилет нового фасона? Такие теперь носят на Бродвее?

— Да, это наш прежний Джонни, — радостно воскликнул Джиллиам. — На кой черт... то есть, я хочу сказать — зачем... Эй, да провались оно совсем! Зачем ты это сделал, старина?

— Сбрось рясу, — стал его умолять Айрз, чуть не плача, — вернись вместе с нами. Вся старая компания с ума сойдет от восторга. Это совсем неподходящее дело для тебя, Белль. Я наверное знаю, что около полдюжины барышень носили в душе траур, когда ты нас

покинул таким необъяснимым образом. Подай в отставку, или достань разрешение от обетов, или что там еще нужно, чтобы уйти с этого ледяного завода. Ты здесь схватишь воспаление легких, Джонни, и... и... батюшки! Да ты без носков!

Белльчемберз опустил глаза, посмотрел на свои ноги, обутые в одни сандалии, и улыбнулся.

— Вы, ребята, ничего не понимаете, — успокаивающе сказал он. — С вашей стороны очень мило звать меня обратно, но я больше не вернусь к прежней жизни. Я здесь достиг цели всех моих стремлений. Я вполне счастлив и доволен. Здесь я проведу остаток моих дней. Вы видите эту одежду, которую я ношу?

Белльчемберз с нежностью дотронулся до рясы, ниспадавшей прямыми складками.

— Наконец-то я нашел платье, которое не морщит на коленях. Я достиг...

Но в эту минуту по всему монастырю раздался гулкий звон большого медного колокола. По-видимому, он немедленно призывал монахов к молитве, так как брат Амвросий наклонил голову, повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни одного слова. Только проходя через каменную арку, он слегка махнул рукой, как бы прощаясь с друзьями. Молодые люди так и не видали его больше до своего ухода из монастыря.

Вот какой рассказ привезли с собой Томми Айрз и Ланселот Джиллиам из последнего путешествия по Европе.

Женщина и жульничество

Перевод под ред. В. Азова.

На днях я случайно встретился с моим старым приятелем Фергюсоном Поогом — убежденным мошенником высшего полета. Штаб-квартира его — Западное полушарие, а работает он во всех отраслях, начиная с распродажи городских участков среди девственных прерий и кончая импортом в лесистый Коннектикут деревянных игрушек, выделанных из скорлупок орехов, смолотых посредством гидравлического пресса.

Иногда, после удачного и прибыльного дела, Поог приезжает в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть. Он уверяет, что пустыня — кувшин вина, каравай хлеба «и о, Ты, в пространстве Бесконечный» — дают ему столько же отдыха и развлечения, как катание с гор в Луна-парке президенту Тафту.

— Для отдыха, — говорит Поог, — мне необходим большой город. Лучше всего — Нью-Йорк. Правда, я недолюбиваю ньюйоркцев, но Манхеттен^[16] почти единственное место на земном шаре, где их не видно.

Когда Поог находится в столице, его всегда можно отыскать в двух местах. Одно из них — небольшая лавка букиниста на Четвертой авеню, где он читает книги по двум интересующим его вопросам: магометанству и набивке чучел. Я застал его в другом — в снимаемой им на Восемнадцатой улице комнате — спальне и приемной одновременно. Он сидел в одних носках и пытался извлечь «Берега Уабаша» из маленькой цитры. Вот уже четыре года, как он старается выудить эту мелодию, но до сих пор еще так далек от цели, что не мог бы зацепить ее даже самой длинной удочкой для форели. На туалете лежали револьвер Кольта сорок пятого калибра вороненой стали и изрядное количество десятков и двадцаток, туго свернутых в внушительных размеров пачку.

Рядом, в передней, порхала горничная с убирательным выражением лица; она не могла решиться ни уйти, ни войти,

смущенная носками Поога, терроризированная Кольтом и замороженная, как истая дочь столицы, волшебной пачкой.

Не было человека более прямого и простодушного, чем Поог. По сравнению с открытым выражением его лица, значение крика месячного Генри Джеймса, требовавшего груди, могло показаться туманнее халдейской криптограммы. Он с гордостью рассказывал мне эпизоды из его профессии, на которую он смотрел как на искусство. Я любопытствовал узнать, знал ли он женщин, преуспевавших в этой профессии.

— Дам? — с западным рыцарством поправил Поог. — Во всяком случае, в очень ограниченном количестве. Они не могут специализироваться на одной какой-нибудь отрасли, потому что им постоянно приходится вести работу более общего характера. Они не могут иначе. Кто на земле владеет деньгами? Мужчины! А слышали ли вы, чтобы мужчина когда-нибудь дал женщине хоть один доллар, не требуя компенсации? Мужчине он готов отдать все свое состояние — легко, свободно и даром. Но если он опустил хоть один пенни в один из автоматов, поставленных Соединенным Обществом Дочерей Евы, и ананасная жевательная резинка не выпала тотчас же после того, как он дернул рычаг, он сейчас же начинает жаловаться так громко, что вы его услышите за четыре квартала. Мужчина — самый трудный барьер, который женщине приходится брать. Он не отличается щедростью, и для того, чтобы заставить его заплатить, ей приходится работать сверхурочно. В двух случаях из пяти ее усилия пропадают даром. Она не может прибегнуть к техническим усовершенствованиям и дорогим приспособлениям. Он тотчас же заметил бы их, и ее карты были бы сразу раскрыты. Женщинам приходится загребать, что попадает им под руку, — а ведь ручки-то у них нежные. Есть такие, у которых хорошо работают глазные шлюзы: те другой раз вырабатывают до тысячи долларов с промытой тонны. Ну а что делать тем, у которых глаза не на мокром месте? Им приходится прибегать к письмам (с подписью), фальшивым локонам, сочувствию, трясению бедрами, умению вкусно готовить, сентиментальным присяжным, умению втирать очки, к шелковым нижним юбкам, предкам, румянам, анонимным письмам, саше из фиалок, свидетелям, револьверам, турнюрам, серной кислоте, лунному свету, кольдкрему и вечерним газетам.

— Ты меня возмущаешь, Ферг, — сказал я. — Неужели ты считаешь, что счастливые и согласные супружества тоже основаны на таком шантаже?

— Ну, — сказал Поог. — И там, разумеется, шантаж, но не такого сорта, который требует вмешательства полиции, вызова экстренного наряда или который мог бы дать благодарный сюжет для сенсационной пьесы.

Вот как происходит дело: предположим, что ты — миллионер с Пятой авеню. Ты возвращаешься домой и приносишь особе, сделавшей на тебя заявку брильянтовую брошку в девять миллионов долларов. Ты преподносишь ей драгоценность. Она восклицает: «О, Джордж!» Она подходит к тебе и целует тебя. Ты ждал поцелуя — ты получил. Вы квиты. Это шантаж.

Но я хочу тебе рассказать про Артемизию Блай. Она была сама из Канзаса и напоминала пшеницу во всех ее составных частях. Волосы у нее были светлые, как усики на колосьях; стройна она была и высока, как стебель, выросший в низине в сырое лето; глаза у нее были большие и круглые, как спорынья, и всем цветам она предпочитала зеленый.

Во время моего последнего путешествия по значным местам вашего уединенного городка я познакомился с неким Вокрассом. Его оценивали... то есть у него действительно был миллион. Он мне сказал, что работает по уличной части. «Уличный торговец?» — иронически спрашиваю я. «Вот именно, — отвечает он. — Я главный пайщик акционерного общества бетонных мостовых».

Я как-то привязался к нему. Дело в том, что я встретился с ним на Бродвее, однажды вечером, в такую минуту, когда я утратил бодрость духа, счастье, портсигар и деньги. На нем все блестело: цилиндр, брильянтовые запонки и белая крахмальная манишка. Особенно манишка. Я же выглядел чем-то средним между графом Толстым и июньским раком. Мне ужасно не повезло. Я только что... Да пусть мне только попадетсЯ этот мерзавец!

Вокрасс остановился и поговорил со мной несколько минут, а потом потащил меня обедать в шикарный ресторан. Там нас угостили Бетховеном, соусом а-ля бордолез, Французскими шансонетками, кремом франжипан, ликером и папиросами. Я знаком с этими заведениями: я их посещаю, когда я на коне.

Но на этот раз я был без гроша, и вид у меня был, наверное, такой же жалкий, как у художника, рисующего иллюстрации для журналов; волосы у меня были в поэтическом беспорядке, точно я собирался выступить на вечеринке бруклинской богемы и прочесть главу из «Эльзи в школе». Вокрасс носился со мной как с писаной торбой. Ему было наплевать, что лакей был скандализован. Наконец, его поведение объяснилось.

— Мистер Поог, — объявляет он, — я вас весь вечер эксплуатирую.

— Продолжайте в том же духе, — говорю я. — Надеюсь, вам еще не скоро надоест.

Тут он мне, понимаешь, и рассказал, что он за человек. Он ньюйоркец. У него было одно желание — обратить на себя внимание. Ему хотелось быть на виду. Он мечтал о том, чтобы на него указывали, кланялись ему и говорили другим: «Вот идет Вокрасс». Он сознался, что это была мечта его жизни. У него был всего миллион, и потому он не мог приобрести известность швырянием денег направо и налево. Чтобы обратить на себя внимание, он однажды засадил чесноком небольшую площадь на восточной окраине города, — для бесплатного пользования бедными людьми; но Карнеги, услышавший про это, тотчас же переплюнул его и построил на этой площади бесплатную библиотеку на гэльском наречии. Три раза пробовал Вокрасс попасть под автомобиль, но в результате добился только того, что сломал себе пять ребер и прочел в газетах заметку о том, что автомобиль переехал неизвестного ростом пять футов десять дюймов, с четырьмя запломбированными зубами; высказывалось предположение, что это последний из знаменитой шайки хулиганов Ред-Лири.

— А вы попробовали бы репортеров, — сказал я.

— За прошлый месяц, — говорит Вокрасс, — я истратил сто двадцать четыре доллара восемьдесят центов на угощение репортеров завтраками.

— Принесло ли это какой-нибудь результат? — говорю я.

— Чуть не позабыл, — говорит он, — прибавьте восемь долларов пятьдесят центов за пепсин. Да, у меня сделалось расстройство желудка.

— Каким же образом я содействую сейчас вашим усилиям приобрести известность? — спрашиваю я. — Контрастом?

— Сегодня я действительно имел в виду нечто в этом роде, — говорит Вокрасс. — Мне очень жаль, но я вынужден прибегать к эксцентричным выходкам.

Тут он вдруг встает, роняет салфетку в тарелку с супом и отвешивает поклон какому-то господину, который сидит в дальнем углу комнаты под пальмой и ест картошку.

— Комиссар полиции, — довольным тоном объявляет мой честолюбец.

— Друг, — быстро говорю я. — Лезьте вверх сколько хотите, но не выбивайте сами ступеньку из-под ваших же ног. Если вы пользуетесь мной как ступенькой, для того, чтобы раскланиваться с полицией, вы рискуете испортить мне аппетит; мне будет все время казаться, что меня могут арестовать. Надо быть более внимательным к другим.

Когда подали фрикасе в кастрюльке по-квakerски, мне вдруг пришла в голову мысль об Артемизии Блай.

— А что вы скажете, если я устрою так, что о вас станут писать в газетах? По одному или по два столбца в день во всех решительно — и ваш портрет во многих, и все это на целую неделю? Сколько бы вы дали за это?

— Десять тысяч долларов, — сразу повеселев, сказал Вокрасс. — Но только, чур, без убийства, — говорит он, — и затем я не согласен еще приехать на бал в розовых брюках.

— Этого я от вас и не потребую, — говорю я. — То, что я предлагаю, вполне совместимо с честью и достоинством мужчины и даже будет очень шикарно. Велите слуге подать коньяку и прочие южные фрукты, и я сам сейчас изложу мой *opus moderandi*.

Через час мы заключили сделку. Я послал телеграмму в Салину мисс Артемизии Блай. На следующее же утро она отправилась к старшине четвертой пресвитерианской общины, захватив с собою две фотографии и собственноручное письмо и получила от него взбучку и 80 долларов. Во время короткой остановки в Топеке она успела выменять у вице-председателя одного акционерного общества, в обмен на молниеносную встречу и любовную записочку, — железнодорожный указатель и пачку кредиток, на обертке которой было нацарапано: «250 долларов».

Через пять дней после получения моей телеграммы она сидела вечером, вся декольте и притом разодетая, и ждала меня с Вокрассом; мы должны были повезти ее обедать в один из семейных ресторанов для дам, куда мужчины допускаются только в том случае, если они играют в безик и не курят ничего более крепкого, чем папиросы из порошка для уничтожения волос.

— Она сногшибательна, — сказал Вокрасс, когда увидел ее. — Газеты отведут ей не менее двух столбцов. Факт!

Вот какой план мы втроем составили: это была настоящая сделка. Вокрасс должен был в течение месяца афишироваться с мисс Блай со всей откровенностью, страстностью и шиком, на которые он был способен. Этим, конечно, он еще ни на йоту не приближался к цели. Господин в белом галстуке и лакированных ботинках, сыплющий из широкого конца рога изобилия кредитки на содержание и увеселение высокой стройной блондинки, представляет собой зрелище, весьма обыкновенное в Нью-Йорке; таких господ вы можете видеть там не менее, чем синих черепах во время припадка белой горячки. Но он, кроме того, должен был писать ей ежедневно любовные письма самого ужасного свойства, — вроде тех, которые жены издают после смерти мужей. Через месяц он должен был ее бросить, а она должна была предъявить ему иск в сто тысяч долларов за неисполнение обещания жениться.

Мисс Артемизия должна была получить десять тысяч долларов в виде вознаграждения, если она выиграет дело, если же она проиграет, то эти деньги ей все равно уплачивались. Мы составили письменный договор.

Иногда я сопровождал их во время их выездов, но не особенно часто. Я как-то не подходил под их тон. Иногда она вытаскивала его письма и начинала разбирать их, придираясь к каждому слову, точно это были коносаменты на товар.

— Эй, вы! Послушайте-ка! — начинала она. — Что это такое, скажите на милость? Письмо к торговцу железными изделиями от его племянника, узнавшего, что его тетка заболела крапивной лихорадкой? Эх вы, восточные растяпы! Понимаете вы в любовных письмах, как канзасский кузнечник в буксирных пароходах. «Дорогая мисс Блай!» — из таких выражений вы, что ли, думаете, пекутся свадебные пироги? Вы воображаете, что можете этим заинтересовать

публику на суде? Если вы хотите, чтобы лучи славы коснулись ваших редеющих седин, вы должны приняться за дело всерьез и называть меня «мумуличка», «кукушечка», «тигренок мой», а подписываться не иначе как: «Моей маленькой пупусиньке-мумуличке — собственный большой гадкий мальчишка». Вам надо поумнеть.

После этого Вокрасс начал наяривать. Я уже представлял себе, как будут заседать присяжные, а женщины в публике станут срывать друг с друга шляпки, чтобы лучше видеть и слышать. Я предвидел время, когда мистер Вокрасс станет не менее популярным, чем архиепископ Кранмер, Бруклинский мост или сэндвичи с салатом и сыром. Ему, по-видимому, очень нравилась подобная перспектива.

Наконец, они назначили день; я стоял на Пятой авеню, у шикарного ресторана, и наблюдал через окно. Вошел судебный рассыльный и вручил Вокрассу, сидевшему за столом, повестку. Все обернулись и стали смотреть на них, и он сидел гордый, как Цицерон. Я вернулся к себе домой и закурил сигару в пять центов, так как считал, что десять тысяч долларов у нас в кармане.

Часа два спустя кто-то постучался ко мне в дверь. Оказалось, что это Вокрасс и мисс Артемизия; она держала его под руку и прижималась, — поверишь ли, прижималась! — к нему. И они мне объявляют, что они только что ходили венчаться. Потом они начали изрекать какой-то избитый вздор про любовь и тому подобное. А затем они положили на стол пакет, сказали «прощайте!» и ушли.

— Вот потому-то я и говорю, — заключил Фергюсон Поог, — что женщина никогда не достигнет больших успехов в специальных отраслях. Она слишком занята своим естественным призванием и все свои природные способности к шантажу определяет на службу инстинкту самосохранения и жажде удовольствий.

— А что было в пакете, который они оставили тебе? — с обычным любопытством спросил я.

— Эх, — сказал Фергюсон, — там был билет в телячьем вагоне до Канзас-Сити и две пары старых штанов мистера Вокрасса.

Комфорт

Перевод под ред. В. Азова.

По случаю торжеств кучка раф-райдеров сделала визит Нью-Йорку. Эти лояльные отставные вояки чрезвычайно украсили своим присутствием торжества. Газетные репортеры выкопали из своих чемоданов старые широкополые шляпы и кожаные пояса и смешались с толпой визитеров. Бравые сыны Запада без особого восторга приняли к сведению небоскребы (не выше третьего этажа), позевали на Бродвее, повалились, свернувшись, в широких креслах в холлах гостиниц и в общем являли вид скучный и унылый, напоминая почтенного полковника, отлученного на время маневров от услуг своего камердинера.

От этой делегации ротозеев отвалился как-то один из членов ее, некто «Репейник» Най из Пайн-Фетера, Аризона.

Ежедневный циклон, проносящийся по Шестой авеню, оторвал его от общества его верных сотоварищей. Пыль, поднятая тысячью шуршащих юбок, ослепила его; мощный грохот вагонов надземной железной дороги оглушил его; ослепительный блеск двадцати тысяч сияющих глаз смутил его воображение.

Шторм поднялся так внезапно и был так страшен, что первым импульсом «Репейника» было броситься на землю и ухватиться за какой-нибудь корень, но вскоре он сообразил, что это была не стихийная, а человеческая буря, и он спасся от нее в подъезд какого-то дома.

Репортеры писали, что ничто, кроме широкополых шляп, не изобличало западного происхождения этих северных гаучо. Да усовершенствует небо репортерские глаза! Костюм из черного диагоналя, измятый в невероятных местах; ярко-голубой самовяз, завязанный на фабрике; низкий отложной воротничок времен Сеймура и Блэра, лоснящийся, как белые эмалевые буквы на окнах день-и-ночь-кроме-воскресных-дней-открытых-ресторанов; согнутые от вечного сидения в седле колени; своеобразный стиб большого и других пальцев правой руки от привычного крепкого сжимания лассо;

глубоко всосавшийся загар, какого не в состоянии вызвать самое горячее солнце вне Запада; редко мигающие голубые глаза, автоматически разбивающие движущуюся толпу на четверки, как будто это табун, выпускаемый из загона; выражение изолированности и величия, достойное императора или человека, чей кругозор не распространяется дальше, чем на однодневный переезд, — все эти отпечатки Запада лежали на «Репейнике» Нае. О, да — он носил широкополую шляпу, благосклонный читатель, — совершенно такую же, какую надевают кондуктора из почтовой конторы на Мэдисонсквере, когда они отправляются в Бронкс по воскресеньям после обеда.

Вдруг «Репейник» Най бросился в самую середину потока, ухватил какого-то человека, вытащил его из главного фарватера, по которому текло столичное стадо, и дал ему такого тумака по затылку, что тот отшатнулся к стене.

Жертва подняла свою упавшую с головы шляпу с сердитым выражением лица ньюйоркца, потерпевшего оскорбление и намеревающегося написать по этому поводу письмо в редакцию. Но, взглянув на обидчика, человек убедился, что тумак был только выражением любви и дружеского расположения, сообразно манере Запада, который приветствует друга оскорблениями, гвалтом и кулаками, а врага встречает церемонно и выдержанно, как того требует правильный прицел.

— Святая яичница! — воскликнул «Репейник», крепко ухватив плененную им скотину за переднюю ногу. — Неужто это длиннорогий Мерритт?

Другой был... вы ежедневно можете встретить на Бродвее этот образчик: деловой человек: шляпа — последнее слово моды; хорошие — парикмахер, дела, пищеварение и портной.

— «Репейник» Най! — воскликнул он, ухватив покаравшую его руку. — Сердечный друг! Как я рад видеть тебя! Какими чудесами? Ах, да, конечно, торжества! Помню, ты записался в раф-райдеры. Чудесно! Идем, позавтракаем вместе. Никаких! Без отказа!

«Репейник» с грустью, но решительно прижал его к стене рукой размера, очертаний и цвета хорошего седла.

— Длиннорогий, — меланхолически сказал он голосом, расстроившим моментально уличное движение, — что они сделали с

тобою? Ты ведешь себя совершенно как горожанин. Они превратили тебя в строку из «Всего Нью-Йорка». «Идем позавтракаем вместе!» В наши дни ты не позволил бы себе говорить о жратве в таких оскорбительных выражениях.

— Я уже семь лет живу в Нью-Йорке, — сказал Мерритт. — Прошло восемь лет с тех пор, как мы с тобой клеймили коров у старичины Гарсия. Зайдем, во всяком случае, в кафе. Приятно все-таки опять услышать «жратва».

Они пробрались сквозь толпу к отелю и, как бы повинуюсь какому-то естественному закону, направились прямо к стойке бара.

— Говори, — пригласил «Репейник».

— Коньяку, — сказал Мерритт.

— О боги! — воскликнул «Репейник». — И это тот самый человек, с которым мы вместе видывали зеленого змия в кабачках на Западе! Коньяку? Ах, чтоб тебе! Натурального виски! Ты платишь.

Мерритт улыбнулся и заплатил.

Они позавтракали в маленьком продолжении столовой, сообщавшемся с кафе. Мерритт искусно уклонился от выбора своего друга, который уперся на яичнице с ветчиной, — в сторону пюре из сельдерея, котлетки из форели, пирога с куропаткой и соответствующего салата.

— В тот день, — с огорчением и громоподобным гласом заявил «Репейник», — когда я не буду в состоянии выпить больше одной рюмки перед закуской с приятелем, которого я встретил после восьми лет разлуки в тридцатицентовой городе, за столом два на четыре фута, в час дня в третий день недели, — пусть девять мустангов перебрыкнут меня сорок раз через шестьсот сорок квадратных акров пастбища. Зарубил себе на носу эту статистику?

— Правильно, старина, — засмеялся Мерритт. — Официант, принесите мне рюмку абсента фраппе. А тебе что, «Репейник»?

— Натурального, — траурным голосом ответил Най. — Эх, Длиннорогий! Ты пил его когда-то прямо из горлышка! Прямо из бутылки, в седле, на всем скаку — да настоящее виски, аризонское, не эту бурду... Э, да что! Это ты платишь!

Мерритт подсунул талон за напитки под свой бокал.

— Правильно. Ты, вероятно, полагаешь, что город испортил меня. Я такой же хороший ковбой, как и ты, «Репейник», но мне как-то не

приходит даже и в голову вернуться к прежней жизни. В Нью-Йорке имеешь комфорт... комфорт! Я хорошо зарабатываю и хорошо проживаю деньги. Довольно с меня мокрых одеял, и гонки за скотом в снежную бурю, и сала с холодным кофе, и встряски раз в полгода. Я полагаю, что буду околачиваться здесь и впредь. Махнем вечером в театр, «Репейник», а потом пообедаем у...

— Я скажу тебе, кто ты такой, Мерритт, — ответил «Репейник», положив один локоть в его салат, а другой в его масло. — Ты сгущенная, бесплодная, безусловная, короткорукая, козоухая мисс Салли Уокер. Господь сотворил тебя перепендикулярным и приспособленным для езды раскорякой и для употребления крепких слов в оригинале. Ты же осквернил творенье Его рук, перекинув себя в Нью-Йорк, надев маленькие ботиночки, завязанные шнурками, и гримасничая. Я видал, как ты арканил и связывал быка в сорок две с половиной секунды. Если бы ты теперь увидел быка, ты побежал бы сделать заявление об этом в полицию. А эти шарлатанские напитки, которые ты прививаешь своему организму, эти настойки из бурьяна с желудями пополам с киндер-бальзамом — неужели они согласуются с человеческой природой? Ненавижу тебя таким!

— Видишь ли, «Репейник», — ответил Мерритт с оттенком извинения в голосе. — До некоторой степени ты прав. Подчас я и сам чувствую, точно я был вскормлен бутылкой. Но говорю тебе, Нью-Йорк предоставляет человеку комфорт. Есть в нем что-то такое! Зрелища и толпа — и как это все меняется ежедневно — и самое дыхание всего этого. Город словно забрасывает аркан длиною в милю вокруг твоей шеи и оборачивает другой конец его где-то около Тридцать четвертой улицы^[17]. Я сам не знаю, что это такое...

— Бог знает, — печально ответил «Репейник». — И я тоже знаю: Восток пролотил тебя. Ты был дичью, а теперь ты телятина. Ты напоминаешь мне цветочный горшок в окне. Даже в горле у меня от тебя пересохло!

— Рюмку зеленого шартреза, — приказал Мерритт официанту.

— Натурального виски, — вздохнул «Репейник». — Ты платишь, ренегат.

— Виноват, но заслуживаю снисхождения, — сказал Мерритт, — ты не можешь этого понять, «Репейник». Здесь такой комфорт, в Нью-Йорке, что...

— Одолжи мне, пожалуйста, твою нюхательную соль, ты, мисс Салли! — воскликнул «Репейник». — Если б я не видел своими глазами, как ты однажды отшил трех вооруженных бахвалов из Мазатцай-Сити с незаряженным револьвером в руках...

Голос «Репейника» заглох в глубоком огорчении.

— Сигар! — сурово крикнул он официанту, чтобы скрыть свое волнение.

— Пачку турецких папирос, — сказал Мерритт.

— Ты платишь, — сказал «Репейник», с трудом скрывая свое презрение.

В семь часов они пообедали в рекламирующемся в газетах ресторане. Там собралось блестящее общество. Сливки. Оркестр играл увлекательно. Не успеет официант передать дирижеру денежный привет от какого-нибудь гостя, как вся капелла моментально загудит.

За обедом Мерритт старался уговорить приятеля. «Репейник» был старым его другом, и он любил его. Он уговорил его попробовать коктейль.

— Так и быть, ради старой дружбы выпью стакан этого отхаркивающего, — сказал «Репейник», — но предпочел бы натурального виски. Ты платишь.

— Ладно, — ответил Мерритт. — А теперь посмотри карточку кушаний. За что ты зацепишься?

— Что за чертовщина! — воскликнул «Репейник», выпучив глаза. — Неужели в этом фургоне-кухне имеются все эти харчи? Да тут их до черта! Это что? Пюре из ля... ля... из лягушек, что ли? Я пас! Господи помилуй! Да тут хватит снеди на двадцать объездов. Валяй, я посмотрю.

Блюда были заказаны, и Мерритт обратился к винной карточке.

— Мэдок здесь недурен, — предложил он.

— Ты — доктор, тебе лучше знать, — заметил «Репейник», — а я уж лучше натурального виски. Ты платишь.

«Репейник» осмотрелся кругом. Официант приносил блюда и убирал порожние тарелки. Он наблюдал. Он видел веселую нью-йоркскую толпу.

— Как там были дела со скотом, когда ты уехал из Гилы? — спросил Мерритт.

— Хороши, — ответил «Репейник». — Видишь госпожу в красном шелку с крапинками — там, за столиком? Н-ничего! Я бы позволил ей разогревать свои бобы у моего походного костра. Да, со скотом дела ничего. Она красива, как тот белый мустанг, которого я видел однажды на Черной реке.

Когда подали кофе, «Репейник» протянул одну ногу на ближайший стул.

— Ты говоришь, Длиннорогий, город комфортабельный? — раздумчиво сказал «Репейник». — Да, комфортабельный город. Это не то, что в степи при северном ветре. Как ты назвал эту механику, Длиннорогий? Соус кумберленд? Ничего! Съедобно! И даже очень! Этот белый мустанг удивительно поворачивает голову и встряхивает гривой, погляди-ка! Я думаю, если бы мне удалось продать мое ранчо за приличную сумму, я бы...

— Гьярсонг! — неожиданно рявкнул он так, что парализовал все ножи и вилки в ресторане.

Официант подплыл к столу.

— Еще два этих — как их там — коктейля! — приказал «Репейник».

Мерритт посмотрел на него и многозначительно улыбнулся.

— Это я плачу, — сказал «Репейник», выпуская клуб дыма к потолку.

Неизвестная величина

Перевод под ред. В. Азова.

Немного раньше начала настоящего столетия некий Септимус Кайнсолвинг, старый ньюйоркец, сделал великое открытие. Он первый открыл, что хлеб печется из муки, а не из видов на урожай. Угадав, что урожай будет неудовлетворительный, и зная, что биржа не имеет ощутительного влияния на произрастание злаков, мистер Кайнсолвинг удачным маневром захватил хлебный рынок.

В результате получилось, что когда вы или моя хозяйка (до гражданской войны ей не приходилось ударить пальцем о палец: об этом заботились южане) покупали пятицентовый каравай хлеба, вы прибавляли два цента дополнительно в пользу мистера Кайнсолвинга в виде благодарности за его прозорливость.

Вторым последствием было то, что мистер Кайнсолвинг вышел из этой игры с 2 миллионами долларов припеку.

Дан, сын мистера Кайнсолвинга, был в колледже, когда проделывался этот математический опыт с хлебом. На вакации Дан вернулся домой и нашел своего старика в красном шлафроке за чтением «Крошки Доррит» на веранде своего почтенного особняка из красного кирпича в Вашингтон-сквере.

Он удалился на покой с таким запасом добавочных двухцентовых монет, отторгнутых им от покупателей хлеба, что если бы вытянуть эти монеты в одну линию, она обмотала бы земной шар пятнадцать раз и сошлась бы концами над государственным долгом Парагвая.

Дан поздоровался с отцом и отправился в Гринвич Вилидж повидаться со своим товарищем по школе Кенвицем. Дан всегда восхищался Кенвицем. Кенвиц был бледен, курчав, интенсивен, серьезен, математичен, научен, альтруистичен, социалистичен и природно враждебен олигархии. Кенвиц отказался от университета и учился часовому делу в ювелирной мастерской своего отца. Дан был улыбающийся, веселый, добродушный юноша, одинаково терпимый к королям и тряпичникам. Они радостно встретились, как и подобает антиподам. Затем Дан вернулся в университет, а Кенвиц к своим

пружинам и к своей библиотеке — в комнатке позади отцовского магазина.

Через четыре года Дан вернулся на Вашингтон-сквер, снабженный дипломом бакалавра словесных наук и отполированный двумя годами пребывания в Европе. Бросив сыновний взгляд на пышный мавзолей Септимуса Кайнсолвинга на Гринвудском кладбище и предприняв скучную экскурсию в область отпечатанных на машинке документов в обществе своего поверенного, он почувствовал себя одиноким и безнадежным миллионером и поспешил к своему другу в старый ювелирный магазин на Шестой авеню.

Кенвиц отвинтил лупу от глаза, вытащил из мрачной задней комнаты своего родителя и променял внутренность часов на внешность Нью-Йорка. Они уселись с Даном на скамейке в Вашингтон-сквере. Дан мало переменился. Он был статен и важен важностью, которая легко распускалась в улыбку. Кенвиц был больше прежнего серьезен, напорист, научен, философичен и социалистичен.

— Теперь мне все известно, — сказал наконец Дан. — С помощью юридических светил я вошел во владение кассой бедного папаши и прочим барахлом. В общем, до двух миллионов долларов, Кен. И мне говорили, что он сколотил все это из грошей, которые он выжал у бедняков, покупающих хлеб в лавочке за углом. Ты изучил политическую экономию, Кен, и знаешь все, что касается монополий, трудящихся масс, спрутов и прав рабочего народа. Я раньше никогда не интересовался этими вопросами. Футбол и стремление быть справедливым к людям представляли собою почти весь мой университетский курикулум.

Но с тех пор, как я вернулся домой и узнал, каким путем мой папенька нажил свои деньги, я стал задумываться. Мне страшно хотелось бы вернуть этим индивидам то, что они переплатили лишнего на хлебе. Я знаю, что это окорнало бы ленту моих доходов на порядочное количество ярдов, но я хотел бы рассчитаться с ними. Есть какой-нибудь способ сделать это?

Большие черные глаза Кенвица загорелись. Его тонкие интеллигентные черты приняли почти сардоническое выражение. Он схватил Дана за руку пожатием друга и судьи.

— Это невозможно, — ответил он энергично. — Одна из жесточайших казней для вас, людей, владеющих несправедливо добытым богатством, заключается в том, что, когда вы начинаете каяться, вы убеждаетесь, что потеряли силу исправить или оплатить причиненное зло. Я преклоняюсь, Дан, перед твоими благими намерениями, но ты ничего не можешь поделать. Люди были ограблены и потеряли свои кровные гроши. Слишком поздно теперь, чтобы загладить преступление. Ты не можешь выплатить им эти деньги обратно.

— Конечно, — сказал Дан, зажигая трубку. — Мы не можем разыскать каждого из этих дурней и вручить ему надлежащую сдачу. Их такая масса — покупающих хлеб каждый день. Станный вкус у них... Я никогда особенно не интересовался хлебом, разве только в поджаренных гренках с рокфором. Но кое-кого из них мы могли бы найти и высыпать сколько-нибудь из отцовских денег обратно — туда, откуда они были взяты. Это было бы мне облегчение. Противно, должно быть, действительно человеку, когда с него снимают шкуру из-за такой дряни, как хлеб. Наверное, никто не стал бы протестовать, если бы поднялась цена на омаров и на салат из крабов. Валяй, Кен, подумай. Я хочу вернуть назад из этих денег все, что удастся.

— Есть много благотворительных учреждений, — механически заметил Кенвиц.

— Слишком просто, — возразил Дан, затянувшись трубкой. — Можно подарить городу сад или пожертвовать госпиталю грядку спаржи, но я не хочу, чтобы Пауль заработал на том, что мы ободрали Питера. Я хочу покрыть именно хлебный перебор.

Тонкие пальцы Кенвица быстро задвигались.

— А ты знаешь, сколько денег потребовалось бы, чтобы вернуть потребителям то, что они переплатили за хлеб со времени этого биржевого маневра? — спросил он.

— Не знаю, — твердо ответил Дан. — Мой поверенный говорит, что у меня два миллиона.

— Если бы у тебя было сто миллионов, — пылко воскликнул Кенвиц, — ты не был бы в состоянии уплатить тысячной доли того, что было исторгнуто. Нет возможности постигнуть размеры зла, вызванного преступно примененным богатством. Каждый грош, вытянутый из тощего кошелька бедняка, реагировал в тысячу раз ему во вред. Ты этого не понимаешь. Ты представить себе не можешь,

насколько бесполезны твои стремления к расплате. Даже одного-единственного потерпевшего мы не в состоянии удовлетворить.

— Брось, философ! — заметил Дан. — Нет такого горя у цента, которого нельзя было бы залечить долларом.

— Ни одного, — повторил Кенвиц. — Я познакомлю тебя с одним, и ты увидишь. Томас Бойн имел небольшую пекарню там, на Верик-стрит. Его клиентура состояла из беднейшего люда. Когда поднялась цена на муку, ему пришлось поднять цены на хлеб. Его покупатели были слишком бедны, чтобы платить повышенную цену. Дела его пошатнулись, и он потерял свой капитал — тысячу долларов — все, что у него было.

Дан Кайнсолвинг мощно ударил кулаком по скамье.

— Принимаю этот случай! — воскликнул он. — Веди меня к Бойну. Я верну ему его тысячу долларов и куплю ему новую пекарню в придачу.

— Напиши чек, — сказал, не двигаясь с места, Кенвиц, — и затем продолжай выписывать чеки в возмещение за все последствия. Следующий чек напиши на пятьдесят тысяч долларов. После банкротства Бойн сошел с ума и поджег дом, из которого его хотели выселить. Убытков было на эту сумму. Бойн умер в доме умалишенных.

— Держись случая с Бойном, — сказал Дан. — Страховые общества не значатся в моем благотворительном списке.

— Пиши затем чек на сто тысяч, — продолжал Кенвиц. — Сын Бойна пошел по дурной дороге, когда закрылась пекарня, и был обвинен в убийстве. На прошлой неделе он был оправдан после трехлетнего юридического боя, и теперь штат возлагает расходы по этому делу на плательщиков налогов.

— Вернись к пекарне! — с нетерпением воскликнул Дан. — Правительству не приходится стоять в хлебной очереди.

— Есть еще одна графа, относящаяся к этому случаю... Пойдем, я покажу тебе, — сказал Кенвиц, вставая.

Часовщик-социалист ликовал. Он был миллионером по природе и пессимистом по ремеслу. Одним духом Кенвиц мог уверить вас, что деньги чистое зло и разврат и что ваши новехонькие часы нуждаются в чистке и новой пружине.

Он повел Кайнсолвинга к югу от сквера, на грязную, кишашую нищетой Верик-стрит. По узкой лестнице грязного кирпичного дома следовал за ним кающийся потомок спрута. Кенвиц постучался в дверь, и ясный голос пригласил их войти.

В почти голой комнате сидела за швейной машиной молодая женщина. Она кивнула Кенвицу как старому знакомому. Слабый луч солнца, пробивавшийся сквозь тусклое окно, окрасил ее густые волосы в цвет древнего тосканского щита. Она бросила Кенвицу открытую улыбку и слегка смущенный вопрошающий взгляд.

Кайнсолвинг в молчании бьющегося сердца смотрел на ее чистую трогательную красоту. Они очутились перед последней графой счета, относящегося к случаю с Бойном.

— Сколько на этой неделе, мисс Мэри? — спросил часовщик.

Гора грубых серых рубах лежала на полу.

— Почти тридцать дюжин, — приветливо ответила молодая женщина. — Я заработала около четырех долларов. Мои дела поправляются, мистер Кенвиц. Прямо не знаю, что делать с такой кучей денег.

Глаза ее открыто и мягко посмотрели на Дана. Маленькое розовое пятнышко выступило на ее бледной щеке.

Кенвиц улыбался, как сатанинский ворон.

— Мисс Бойн, — сказал он, — позвольте представить вам мистера Кайнсолвинга, сына того человека, который поднял цены на хлеб пять лет назад. Он хотел бы помочь тем, кто был обездолен этим поступком.

Улыбка исчезла с лица девушки. Она встала и указала на дверь. На этот раз она смотрела прямо в глаза Кайнсолвингу но то не был взгляд, обещающий радость.

Мужчины вышли на Верик-стрит. Кенвиц, дав волю пессимизму, возмущению и ненависти, которые он питал к спруту атаковал денежную сторону своего друга язвительным потоком речей. Дан, по-видимому, прислушивался к его словам. Вдруг он обернулся, горячо пожал руку Кенвица и сказал:

— Я очень тебе благодарен, старина, тысячу раз благодарю.

— Мейн готт! Ты с ума сошел! — воскликнул часовщик и впервые за много лет уронил свои очки.

Через два месяца после этого Кенвиц вошел в большую пекарню на Нижнем Бродвее; он принес хозяину золотые очки, которые были у него в починке.

Какая-то дама давала заказ приказчику.

— Эти булки по девять центов, — сказал приказчик.

— Я всегда покупаю их по восьми в верхней части города, — ответила дама. — Не заворачивайте, я проеду туда по пути домой.

Голос показался часовщику знакомым. Он прислушался.

— Мистер Кенвиц! — радостно воскликнула дама. — Как вы поживаете?

Кенвиц сосредоточил все свое социалистическое и экономическое внимание на ее удивительном боа и на ожидавшей ее снаружи коляске.

— Как, мисс Бойн! — начал он.

— Миссис Кайнсолвинг, — поправила она. — Дан и я обвенчались месяц назад.

Театр — это мир

Перевод Л. Беспаловой.

Моему приятелю-репортеру перепала как-то пара контрамарок — так мне удалось попасть несколько дней назад в один из любимых нашей публикой эстрадных театров.

Среди прочих номеров в программе значилось и соло на скрипке, исполнял его поразительной наружности мужчина — слегка за сорок, но с совершенно седой копной волос. Не страдая пристрастием к музыке, я разглядывал скрипача, пропуская мимо ушей систему производимых им звуков.

— С этим скрипачом месяца два тому назад случилась интересная история, — сказал репортер. — Меня послали к нему. Я получил задание написать колонку, выдержанную в самом что ни на есть веселом и смешном духе. Шефу вроде нравится мой шутейный подход к местным происшествиям. Да, ты не ошибся, я сейчас пишу фарс. Ну, я съездил к скрипачу, разузнал у него все в подробностях, а задание провалил. Вернулся восвояси и развез как мог юмористический отчет об одних похоронах в Ист-Сайде. Почему? Хоть убей, не вижу в этой истории ничего смешного. Вот разве тебе удастся сделать из нее одноактную трагедию для пролога. Факты я тебе все предоставлю.

После спектакля мой друг репортер поведал мне эту историю за кружкой пива.

— Я тебя не понимаю, — сказал я, когда он поставил точку. — Тут есть готовый сюжет для прекрасного юмористического рассказа. Эти трое не могли бы вести себя глупее и нелепее, будь они всамделишными актерами во всамделишном театре. Я сильно подозреваю, что театр — это мир, а все актеры в нем — мужчины и женщины, так я цитирую Шекспира^[18].

— Возьми и напиши его сам, — сказал репортер.

— И напишу, — сказал я, и слово свое сдержал, хотя бы для того, чтобы показать моему приятелю, какой материал для фельетона он прошляпил.

Неподалеку от Абингдон-сквера стоит дом. В нижнем этаже его уже четверть века помещается лавочка, где торгуют игрушками, галантереей и писчебумажными товарами.

Два десятка лет тому назад в комнатах над лавочкой играли свадьбу. Домом и лавкой владела вдова Майо. В тот вечер вдова выдавала свою дочь Элен за Фрэнка Барри. Шафером жениха был Джон Дилэни. Элен шел девятнадцатый год, и ее портрет красовался в утренней газете по соседству с заметкой, озаглавленной «Дама убивает оптом» (судебная хроника гор. Бьютт, шт. Монт.). Но отвергнув умом и глазами связь между заголовком и портретом, выхватили лупу и разбирали подпись, в которой Элен именовалась представительницей блистательной плеяды красавиц Нижнего Вест-Сайда. Фрэнк Барри и Джон Дилэни были не менее блистательными кавалерами того же района и закадычными друзьями, из тех, что в любой пьесе так и норовят сделать друг другу пакость. Во всяком случае, те, кто покупает билеты в партер и беллетристику, только того и ждут. Пока что это было первое смешное место в рассказе. Друзья участвовали в состязании, призом в котором служило сердце Элен. Когда победу одержал Фрэнк, Джон пожал ему руку и честь по чести поздравил — ей-ей, поздравил.

После брачной церемонии Элен побежала к себе надеть шляпку. Она выходила замуж в дорожном платье. Новобрачные собирались на неделю уехать в Олд-Пойнт-Комфорт. Внизу их поджидала обычная толпа галдящих дикарей, державших наготове охапки старых башмаков и пакеты с дробленой кукурузой.

Вдруг Элен услышала грохот — это с пожарной лестницы к ней в окно прыгнул обезумевший от страсти Джон Дилэни. Взмокший хохол прилип к его лбу, и он с ходу приступил к осаде утраченной им возлюбленной; осыпав ее бурными попреками, он молил ее скрыться или смыться с ним на Ривьеру, в Бронкс или любую другую местность, где имеются итальянские небеса и *dolce far niente*.

Сам Блейни содрогнулся бы, увидев, как Элен дает отпор Джону. Глаза ее пылали гневом, а своим вопросом, за кого он ее принимает, она буквально испепелила его.

Джон готов был удалиться. Мужество покинуло его. Он отвесил Элен низкий поклон и залепетал что-то насчет того, что «он над собой не властен», а также «навек сохранит в своем сердце память

о...», в ответ на что она велела ему, не теряя времени попусту, седлать пожарную лестницу и мчать вниз во весь опор.

— Я устранюсь, — сказал Джон Дилэни. — Уеду на край света. Раз ты принадлежишь другому, оставаться здесь выше моих сил. Мой путь лежит в Африку, там среди незнакомой мне природы я попытаюсь за...

— Бога ради, уходи скорее, — сказала Элен. — Сюда могут войти.

Он опустился перед ней на колени, и она протянула ему свою лилейную ручку, дабы он запечатлел на ней прощальный поцелуй.

Девицы, случилось ли вам пережить тот счастливый миг, когда ваш избранник надежно приторочен к вам узами брака, а отвергнутый вздохатель врывается к вам с прилипшим ко лбу хохлом, падает на колени и лопочет об Африке и о любви, которая, невзирая ни на что, будет цвести в его сердце, не увядая, подобно бессмертнику? Если да, значит, великий божок Купидон преподнес вам лучший из своих даров. Разом насладиться и своим могуществом, и блаженной незыблемостью своего нового положения, услать злополучного обожателя лечить разбитое сердце в чужие края и, пока он приникает в прощальном поцелуе к вашим пальцам, ликовать, что ваш маникюр в отменном порядке, — вот это жизнь! Нет, нет, девицы, такой случай упускать нельзя.

А дальше — неужели вы догадались? — дверь, как и следовало ожидать, распахнулась, и в комнату ворвался новобрачный, возревновавший новобрачную к шляпке, которой уделялось так много внимания.

Джон Дилэни напечатлел прощальный поцелуй на руке Элен, махнул через окно и скатился по пожарной лестнице — так начался его путь в Африку.

А теперь, пожалуйста, музыку и помедленнее: всхлип скрипки, вздох кларнета, тихий стон виолончели. Вообразите себе эту сцену. Фрэнк, вне себя от бешенства, испускает душераздирающий крик. Элен кидается ему на грудь, желая внести в дело ясность. Он сбрасывает с плеч ее руки — раз, другой, третий отталкивает он ее (режиссер покажет вам, как это делать) и швыряет — рыдающую, убитую горем, наземь. Он не желает ее больше видеть и, прорвавшись сквозь толпу ошарашенных зевак, покидает брачный чертог.

А теперь, раз уж театр — это мир, зрителю не миновать выйти во взаправдашнее фойе этого мира и там сочетаться браком, умирать, сесть, богатеть, нищать, ликовать или горевать — весь тот двадцатилетний антракт, который предшествует поднятию занавеса перед следующим действием.

Миссис Барри унаследовала лавку и дом. В тридцать восемь лет она обошла бы на любом конкурсе красоты не одну восемнадцатилетнюю девицу, как по очкам, так и по общим показателям. Лишь немногие помнили теперь, какой комедией кончилась ее свадьба, хотя она и не делала из этих событий тайны. Она не перекладывала их лавандой, не пересыпала нафталином, но и не сбывала журналам.

Однажды процветающий юрист средних лет, постоянно покупавший в ее лавке бумагу и чернила, предложил ей через прилавок руку и сердце.

— Премного вам благодарна, — сказала Элен бодро, — но вот уже двадцать лет я принадлежу другому. И хотя вел он себя как нельзя глупее, сдается мне, я его по-прежнему люблю. Последний раз я его видела через полчаса после свадьбы. Вам какие чернила требуются — копировальные или простые?

Склонясь в изысканном старомодном поклоне над прилавком, юрист почтительнейше поцеловал руку Элен. Из ее груди вырвался вздох. Прощальные поцелуи, даже самого романтического толка, могут приестся. Ей шел тридцать девятый год. Она была хороша собой, привлекательна, а до сих пор от всех своих вздыхателей не видела ничего, кроме попреков и прощаний. Горше того, в последнем она теряла еще и покупателя.

Торговля хирела, и Элен вывесила объявление «Сдаются комнаты». На третьем этаже были приготовлены две просторные комнаты для подходящих жильцов. Жильцы въезжали и неохотно съезжали, ибо в доме миссис Барри царили уют, чистота и отменный вкус.

В один прекрасный день в дом неподалеку от Абингдон-сквера въехал скрипач Рамонти. Грохот и лязг деловых кварталов оскорблял его изысканный слух, поэтому приятель направил его в этот оазис тишины в пустыне городского шума.

Моложавый чернобровый Рамонти с его темной иноземной бородкой клинышком, необычной седой шевелюрой и артистическим темпераментом, проявлявшимся в непринужденной, веселой и общительной манере держаться, прижился в старом доме подле Абингдон-сквера.

Сама Элен жила на втором этаже весьма странной причудливой планировки. Чуть не весь этаж занимал просторный, почти квадратный холл. Вдоль длинной его стены поднималась лестница, дойдя до ее середины, она круто поворачивала и вдоль короткой вела на третий этаж. Холл служил Элен и гостиной и кабинетом. Тут она поставила свою конторку, тут писала деловые письма, тут вечерами читала и шила у горящего камелька, освещенная красными отблесками пламени. Рамонти так тут нравилось, что он проводил в уютном холле чуть не все свое свободное время, занимая миссис Барри рассказами о достопримечательностях Парижа, где он брал уроки у исключительно прославленного и шумного скрипача.

Следом за Рамонти въехал жилец № 2, видный, печальный мужчина едва за сорок, с темной таинственной бородой и жалкими, виноватыми глазами. Он тоже любил проводить время в обществе Элен. Пуская в ход взоры Ромео и красноречие Отелло, он обольщал ее рассказами о дальних странах и завлекал тонким обхождением.

В присутствии этого человека Элен с первой же минуты почувствовала неодолимое волнение. Звук его голоса переносил ее в невозвратные дни девичьей любви. Чувство это с каждым днем становилось сильнее, и Элен не противилась ему, напротив, из него рождалась вера, что этот человек сыграл свою роль в той любви. А потом, рассуждая чисто по-женски (да, да, женщины тоже изредка рассуждают), она, минуя пошлые силлогизмы, теории и логику, пришла к выводу, что это ее муж возвратился к ней. Ибо в глазах его она читала любовь, которую женщина всегда безошибочно угадывает, а также тяжкий груз сожалений и сокрушений, которые вызывают жалость, от которой всего один шаг до любви вознагражденной, которая и является *sine qua non*^[19] в доме, который построил Джек.

Но она и виду не подавала. Если муж выскакивает на минутку из дому, а заскакивает назад через двадцать лет, он не вправе рассчитывать, что шлепанцы будут ожидать его на привычном месте или что едва ему захочется закурить, к нему опрометью бросятся с

зажженной спичкой. Ему не миновать разъяснений, раскаяния, а плядишь, и разноса. Для начала краткое пребывание в чистилище, а там, буде он проявит должное смирение, не исключено, что ему вручат-таки арфу и венец. Вот почему Элен не подала и виду, что знает его тайну или догадывается о ней.

А мой-то приятель-репортер не увидел в этой истории ничего смешного! Ему поручили написать занятную, смешную, потешную, уморительную историю... впрочем я пощажу собрата... и вернусь к нашему рассказу.

Как-то вечером Рамонти задержался в совмещенном холле-конторе-кабинете и изъяснился Элен в любви с нежностью и пылом вдохновенного художника. В речах его горел пламень божественного огня, который бушует в сердцах тех, в ком сочетается мечтатель и творец.

— Но прежде, чем вы ответите мне, — продолжал он, не дав ей сказать, что он застиг ее врасплох, — я считаю своим долгом предупредить вас, что никакого другого имени, кроме Рамонти, я не могу вам предложить. Так назвал меня мой импресарио. Мне неведомо ни кто я, ни откуда родом. Я помню себя лишь с той минуты, как я очнулся в больнице. Я был тогда молод и провел в больнице много недель. До этого дня в моей памяти полный провал. Мне рассказали, что меня подобрала на улице карета скорой помощи — у меня была разбита голова. В больнице решили, что я оступился и ударился головой о булыжник. При мне не нашлось ничего, по чему меня могли бы опознать. Я же сам так ничего и не вспомнил. Когда меня выписали из больницы, я занялся музыкой. Успех сопутствовал мне. Миссис Барри, я не знаю вашего имени, но я люблю вас; с тех пор как я увидел вас впервые, я понял, что другие женщины для меня не существуют... — и все прочее, тому подобное.

Элен почувствовала, что к ней вернулась молодость. Ее захлестнула волна гордости, за ней мелкой рябью набежало тщеславие, но потом она посмотрела Рамонти в глаза, и сердце ее бешено забилося. Элен не ожидала, что она еще способна переживать такие чувства. Голова у нее пошла кругом. Музыкант незаметно для нее вошел в ее жизнь.

— Мистер Рамонти, — сказала она горестно (помните, что этот разговор происходил не в театре, а в старом доме подле Абингдон-

сквера). — Мне очень горько, но я замужем.

И она поведала ему свою печальную историю, как и полагается — раньше ли, позже — всякой героине, а уж кому она ее поведала — антрепренёру или интервьюеру, это как повезёт.

Рамонти отвесил низкий поклон, поцеловал Элен руку и поднялся к себе.

Элен же опустила на стул и мрачно уставилась на свою руку. Ее можно понять. Три обожателя целовали ей руку, седлали горячих скакунов и уносились прочь.

Через час ее навестил таинственный незнакомец с виноватыми глазами. Элен сидела в плетеной качалке и вязала какую-то безделицу. Жилец направился к лестнице, но с полпути вернулся поболтать с Элен. Через разделявший их стол он тоже объяснился ей в нежной страсти. А потом сказал: «Элен, неужели ты не помнишь меня? Мне кажется, я видел по твоим глазам, что ты меня не забыла. Можешь ли ты забыть прошлое и принять любовь, которая выдержала двадцатилетнее испытание? Я бесконечно виноват перед тобой, я страшился вернуться к тебе, но любовь победила рассудок. Можешь ли ты простить, простишь ли ты меня, Элен?»

Элен встала. Таинственный незнакомец сжал ее руку в своих трясущихся руках.

Так они стояли, и мне жаль, что эта сцена и эти чувства пропали для театра.

Ибо в сердце Элен шла борьба. Чистая неувядающая любовь к жениху все еще жила в ней; бесценная, священная память о первом избраннике заполонила половину ее души. Все склоняло ее к этому чистому чувству. Честь, верность и блаженные, незабываемые дни первой любви привязывали ее к нему. Но вторую половину ее души занимало другое, более позднее, более полнокровное, более непосредственное чувство. И старое чувство боролось с новым.

И пока она колебалась, из комнаты наверху донеслись приглушенные, томительно-щемящие звуки скрипки. Старая карга музыка подчас обезоруживает самые благородные сердца. Тут я хочу поспорить с Яго, который говорил, что он скорее «галкам даст клевать свою печенку»^[20], чем откроет душу; я, напротив, считаю, что тому, у кого душа нараспашку, ничего не грозит, но горе тому, кто души не

чает в музыке. Музыка и музыкант звали Элен, но честь и прежняя любовь не пускали ее.

— Прости меня, — молил он.

— Можно ли пробыть двадцать лет в разлуке, если любишь? — сказала она, голосом подавая ему надежду на прощение.

— Что мне было делать? — взывал он. — Я ничего не скрою от тебя. В тот вечер, когда он выбежал из дому, я пошел следом за ним. Я потерял голову от ревности. В темном переулке я сбил его с ног. Он не встал. Я осмотрел его. Он ударился головой о булыжник. Я не хотел его убивать. Просто я обезумел от любви и ревности. Притаившись поблизости, я видел, как его увезла скорая помощь. И хотя ты вышла за него замуж, Элен...

— КТО ВЫ ТАКОЙ? — вскричала она в ужасе и вырвала у него руку.

— Неужели ты забыла меня, Элен? Забыла того, кто любил тебя больше всех? Я — Джон Дилэни. Можешь ли ты простить...

Но она уже бежала по лестнице — спотыкаясь, задыхаясь, неслась она навстречу музыке и тому, кто забыл все, но в обеих своих жизнях любил только ее одну; она летела и на бегу рыдала, лепетала, пела: «Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!»

Трое смертных жонглировали годами наподобие бильярдных шаров, а мой приятель-репортер не увидел в этом ничего смешного!

Блуждания без памяти

Перевод Н. Галь.

В то утро мы с женой расстались совсем как обычно. Не допив вторую чашку чаю, она проводила меня до двери. Тут она смахнула с моего лацкана невидимую пушинку (истинно женский способ показать, что ты — ее собственность). Я попросил не забывать о моей простуде. Никакой простуды у меня не было. Засим последовал прощальный поцелуй — пресный семейный поцелуй, отдающий ее любимым мылом. Нет, тут нечего опасаться неожиданностей, ни единая крупица разнообразия не сдобрит привычный обряд. Весьма искусно, что достигается долгой преступной практикой, она перекосила в моем галстуке отлично вколотую булавку, и, закрывая наконец за собой дверь, я услышал, как она шлепает домашними туфлями в столовую допивать остывший чай.

Когда я вышел из дому, ничего такого я не предвидел и не предчувствовал. Приступ застиг меня врасплох.

Перед тем я несколько месяцев чуть ли не сутками напролет усердно трудился над знаменитым судебным делом одной железнодорожной компании и только на днях это дело с блеском выиграл. Собственно говоря, я уже много лет работал почти без отдыха. Добрейший доктор Волни, мой врач и друг, не раз предупреждал меня:

— Смотри, Белфорд, если ты не дашь себе хоть небольшую передышку, это кончится крахом. У тебя либо нервы не выдержат, либо мозг. Ты, наверно, читал, в газетах чуть не каждую неделю пишут про случаи амнезии: ушел человек из дому и пропал, бродит где-то и сам не знает, как его зовут, не помнит, кто он был и как жил... а все из-за маленькой кровяной пробки, которая образовалась в мозгу от переутомления или волнения.

— А я всегда думал, что в таких случаях пробку надо искать в мозгах у репортера, — заметил я.

Доктор Волни покачал головой.

— Нет, эта болезнь не выдумана, — сказал он. — Тебе позарез нужен отдых или перемена обстановки. Ведь сейчас ты движешься по замкнутому кругу: суд, контора, дом. А для развлечения читаешь... свод законов. Прислушайся к моему совету, пока не поздно.

— По четвергам мы с женой вечером играем в крибедж, — возразил я. — По воскресеньям она читает мне вслух письма своей мамы, та пишет аккуратно раз в неделю. А что свод законов — не развлечение, это еще вопрос!

В то утро, идя по улице, я раздумывал над словами доктора Волни. Чувствовал я себя ничуть не хуже, чем всегда, а настроен был, пожалуй, даже лучше обычного.

Когда я проснулся, все тело у меня одеревенело и ныло, ведь не очень-то удобно спать долгие часы в вагоне, да еще сидя. Я откинулся на спинку сиденья и попробовал собраться с мыслями. Думал, думал и наконец сказал себе: «Все-таки должно же у меня быть какое-то имя». Порылся в карманах. Ничего — ни письма, ни визитной карточки, ни документов, ни монограммы. Зато во внутреннем кармане оказалось около трех тысяч долларов в крупных купюрах. «Должен же я кем-то быть», — повторил я себе и стал размышлять.

В вагоне полно народу, и все легко, непринужденно разговаривают между собой, все веселые и отлично настроены, — значит, их связывают какие-то общие интересы. Один пассажир — солидный мужчина, которого облаком окутывал явственный запах корицы и алоэ, дружески мне кивнул, уселся рядом и развернул газету. Порой он отвлекался от чтения, и мы, как всегда бывает в дороге, беседовали о всякой всячине. Оказалось, что я вполне могу поддерживать такой разговор, по крайней мере, память меня ничуть не подводила. Затем мой сосед сказал:

— Вы, конечно, один из наших. На этот раз Запад посылает отборных делегатов. Я рад, что конгресс соберется в Нью-Йорке, мне еще не приходилось бывать в восточных штатах. Разрешите представиться: Р. П. Болдер, фирма «Болдер и Сын» в городе Хикори-Гроув, штат Миссури.

Ни к чему такому не готовый, я все же не дрогнул, как и подобает мужчине в трудную минуту.

Необходимо тотчас совершить обряд крещения и действовать одному в трех лицах: младенец, священник и родитель. Мозг работал медленно, однако пришли на выручку чувства. Острый запах лекарств, исходивший от соседа, навел меня на удачную мысль...

— Меня зовут Эдвард Пинкхаммер, — сказал я без запинки. — Я провизор, живу в Корнополисе, штат Канзас.

— Я знал, что вы провизор, — любезно отвечал мой спутник. — Я сразу заметил у вас на указательном пальце правой руки мозоль от пестика, у всех нас натерто это место. Вы, понятно, тоже делегат на наш всеамериканский конгресс.

— А что, все эти люди — провизоры? — удивился я.

— Конечно. Этот вагон идет прямо с Запада. И все они провизоры старой закалки, не то что нынешние фармацевты, которые только и знают патентованные таблетки да ампулы и не готовят лекарства сами. Нет, мы своими руками процеживаем микстуры и изготавливаем пилюли, по весне не гнушаемся торговать огородными семенами, а заодно и сладостями и даже обувью. Говорю вам честно, Хампинкер, на этом конгрессе я выскажу кое-что новенькое, людям нужны свежие идеи. Вот, например, вы знаете флаконы с рвотным порошком и сегнетовой солью; в одном случае это виннокислый калий плюс сурьма, в другом — плюс натрий; одно, как вы знаете, яд, другое — совершенно безвредное снадобье. Но наклейки очень легко перепутать. Где почти все провизоры держат эти флаконы? Как можно дальше друг от друга, на разных полках. И напрасно! А я так скажу: держите их рядышком, чтобы в любую минуту сравнить и тем избежать ошибок. Вам понятна моя мысль?

— Мне кажется, это очень здоровое рассуждение, — сказал я.

— Вот и хорошо! Значит, когда я преподнесу его конгрессу, вы меня поддержите. Эти мастера кремов да косметики из восточных штатов воображают, что они умней всех, но мы их оставим в дураках с их таблетками-пипетками.

— Рад быть вам полезен, — с воодушевлением отозвался я. — Значит, два флакона с... э-э...

— С винносурьмянонатриевой солью и виннокалиенатриевой солью...

— ...должны впредь стоять на полке рядом, — твердо закончил я.

— Теперь еще одно, — продолжал мистер Болдер. — Что вы предпочитаете в качестве среды, когда изготавливаете массу для пиллюль: магнезию и углекислую соль или глицирозу рэдикс в порошке?

— Я... э-э... магнезию, — сказал я. Все-таки это было легче выговорить.

Болдер недоверчиво плянул на меня через очки.

— А я признаю только глицирозу рэдикс, — сказал он. — Магнезия спекается.

Короткое молчание.

— Ну вот, опять так называемая амнезия, — сказал он, передавая мне газету, и указал пальцем заметку. — Не верю я в эти истории. В девяти случаях из десяти это наверняка притворство. Опостытели человеку служба и семейство, пришла охота поразвлечься. Вот он и удирает из дому, а когда его найдут, прикидывается, будто потерял память: не помнит собственного имени и не узнает жену даже по родимому пятну на левом плече. Потеря памяти! Как бы не так! Почему же они ее не теряют сидя дома?

Я взял газету и под хлестким заголовком прочитал следующие строки:

«Денвер, 12 июня. — Элвин С. Белфорд, известный адвокат, три дня назад при загадочных обстоятельствах исчез из дому, и все попытки его разыскать остаются тщетными. Мистер Белфорд — человек известный в нашем городе и принадлежит к верхушке нашего общества: он весьма преуспевающий адвокат. Он женат, владелец прекрасного дома и самой большой частной библиотеки во всем штате. В день загадочного исчезновения мистер Белфорд снял со своего текущего счета в банке значительную сумму. С тех пор никто его не видел. Мистер Белфорд всегда был человеком на редкость уравновешенным, к тому же домоседом и, казалось, был вполне доволен своей семейной жизнью и своей деятельностью. Объяснить его странное исчезновение можно разве только тем, что несколько месяцев подряд он слишком напряженно работал над сложной тяжбой Н-ской железнодорожной компании. Опасаются, что крайнее переутомление повлияло на его рассудок. Принимаются все меры для того, чтобы отыскать пропавшего».

— Вы, кажется, уж чересчур недоверчивы, мистер Болдер, — сказал я, прочитав заметку. — А по-моему, все это вполне правдоподобно. С какой стати человек преуспевающий, уважаемый, счастливый в семейной жизни вдруг возьмет и все бросит? Я знаю, такие провалы памяти действительно бывают, людей заносит неведомо куда, они не помнят ни своего имени, ни прошлого, ни родного дома.

— Чушь и бред! — воскликнул Болдер. — Просто они хотят поразвлечься. Уж очень все стали образованные. Мужчины прослышали про эту самую амнезию и прикрываются ею. Да и женщины туда же. Когда им уже не отвертеться, они глядят вам прямо в глаза и дают самое научное объяснение: «Он меня загипнотизировал!»

Так мистер Болдер позабавил меня своими замечаниями и философией, но это мне ничуть не помогло.

Мы прибыли в Нью-Йорк вечером, около десяти. Я взял извозчика, поехал в гостиницу и записал в книге для приезжих свое имя: Эдвард Пинкхаммер. При этом мною овладела чудесная, неистовая, пьянящая легкость — ощущение безграничной свободы, открывшихся новых возможностей. Я словно заново родился. Каковы бы ни были цепи, что прежде сковывали меня по рукам и по ногам, теперь они разбились. Будущее лежало передо мной, точно ровная, гладкая дорога перед ребенком, едва ставшим на ноги, но я вступал на нее вооруженный знаниями и опытом взрослого.

Мне показалось, что портье чересчур долго меня разглядывает. У меня ведь не было никакого багажа.

— Я на конгресс провизоров, — пояснил я. — Мой чемодан где-то задержался.

И я вытащил из кармана пачку денег.

— Как же, как же, — сказал портье и сверкнул в улыбке золотым зубом. — У нас остановилось много делегатов с Запада. — И звонком подозвал мальчишку-рассыльного.

Я постарался еще убедительней сыграть свою роль.

— У нас на Западе сейчас возникло новое течение, — сказал я. — Мы выдвинем на конгрессе предложение хранить флаконы, содержащие виннокислый калий с сурьмой и виннокислый калий с натрием, в непосредственном соседстве, на одной и той же полке.

— Проводи джентльмена в триста четырнадцатый, — поспешно приказал портье мальчишке. И меня мигом переправили в номер.

Назавтра я купил чемодан и кое-что из одежды и зажил жизнью Эдварда Пинкхаммера. Ломать голову над загадками моего прошлого я не стал.

Огромный город, раскинувшийся на островах, поднес к моим губам пряную, сверкающую чашу. Я с благодарностью припал к ней. Ключи от Манхэттена принадлежат тому, кто их в силах удержать. Становишься либо гостем этого города, либо его жертвой — третьего не дано.

Последующие несколько дней блистали всеми цветами радуги. Эдварду Пинкхаммеру, хоть он и появился на свет считанные часы тому назад, выпало редкое счастье прийти в этот пестрый и увлекательный мир человеком вполне сложившимся и ничем не связанным. Я сидел в театрах, в ресторанах на крыше, где тебя, околдованного, словно на сказочном ковре-самолете переносят в неведомые восхитительные края, населенные игривой музыкой, веселыми красотками и забавно-нелепыми, уморительными карикатурами на род людской. Я шел, куда вздумается, и никто мне был не указ, ничто не помеха — ни пространство, ни время, ни правила приличия. Я обедал в диковинных кабачках, отведывал диковиннейшие яства под звуки цыганского оркестра, под буйные крики неугомонных художников и скульпторов. Бывал я и там, где ночная жизнь трепещет в электрических лучах, точно на ленте синематографа, где можно увидеть разом все банты и шляпки, все золото и драгоценности, какие есть на свете: там весело встречаются те, кого все это украшает, и те, по чьей милости это возможно, и все вместе представляет собою весьма ободряющее и красочное зрелище. И из всего этого я извлек для себя урок. Я понял, что ключ к свободе вовсе не в Распущенности, но в соблюдении Условности. У врат Обходительности надо платить пошлину, иначе не войдешь в страну Свободы. За всей пышностью и видимым беспорядком, за показным блеском и непринужденностью я разглядел, что все подчинено этому железному закону, хоть он и не бросается в глаза. А стало быть, повинуйся на Манхэттене этим неписаным законам — и ты свободнейший из свободных. Если же ослушаешься их, будешь узником в оковах.

Иногда, смотря по настроению, я ходил обедать в величественные залы с пальмами по углам, где разговаривают вполголоса, где все пропитано аристократизмом и утонченной сдержанностью. А иной раз плавал на парходиках, битком набитых крикливыми, развязными клерками и продавщицами в поддельных драгоценностях: без стеснения целуясь и флиртуя у всех на глазах, они спешили на побережье, к дешевым грубым развлечениям. И всегда под рукой был Бродвей — сверкающий огнями, роскошный, коварный, изменчивый, желанный Бродвей, который затягивает, как опиум.

Однажды среди дня, когда я вернулся в гостиницу, в коридоре мне загородил дорогу плотный усатый и носатый мужчина. Я хотел пройти мимо, но он с оскорбительной фамильярностью обратился ко мне.

— Привет, Белфорд! — закричал он. — Что вы делаете в Нью-Йорке, черт подери? Вот уж не думал, что вас можно оторвать от книг и вытащить из вашей берлоги! И супруга с вами? Или у вас тут свои делишки?

— Вы обознались, сэр, — холодно возразил я, высвобождая руку, которую он крепко стиснул. — Меня зовут Пинкхаммер. Извините, я спешу.

Он посторонился, и на лице его выразилось изумление. Я пошел к портье за ключом и слышал, как усатый подозвал рассыльного и сказал что-то насчет телеграфного бланка.

— Приготовьте мой счет, — сказал я портье. — И пусть уложат и через полчаса снесут вниз мои вещи. Я не желаю оставаться там, где ко мне пристают какие-то темные личности.

В тот же день я перебрался в другую гостиницу — спокойную, старомодную, в начале Пятой авеню.

Чуть в стороне от Бродвея есть ресторан, где можно поесть почти *al fresco*^[21], отгородясь от внешнего мира стеною тропических растений. Кругом роскошь и тишина, обслуживают превосходно, и потому здесь очень приятно позавтракать или перекусить. Однажды я пришел сюда и уже направлялся к свободному столику среди папоротников, как вдруг меня придержали за рукав.

— Мистер Белфорд! — воскликнул удивительно милый голосок.

Я обернулся — передо мною в одиночестве сидела дама лет тридцати с необыкновенно красивыми глазами и смотрела на меня

так, будто я ее давний и нежно любимый друг.

— Вы чуть было не прошли мимо, — с упреком сказала она. — И не вздумайте уверять, что вы меня не узнали. Почему бы нам хоть раз в пятнадцать лет не пожать друг другу руки?

Я тотчас пожал ей руку. Потом сел напротив нее. Движением бровей подозвал маячившего поблизости официанта. Дама лениво ковыряла ложечкой апельсиновое мороженое. Я заказал *сгеме де менше*^[22]. Ее волосы были цвета красноватой бронзы. Но смотреть на них не удавалось, потому что невозможно было оторваться от ее глаз. И все же ни на миг не оставляло ощущение, что перед тобой бронзовеют эти волосы, — так все время ощущаешь закат, когда в сумерки смотришь в глубь леса.

— Вы уверены, что вы меня знаете? — спросил я.

— Нет, — с улыбкой ответила она. — В этом я никогда не была уверена.

— А что бы вы подумали, — с тревогой спросил я, — если вам сказать, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер и я приехал из Корнополиса, штат Канзас?

— Что бы я подумала? — повторила она, и глаза ее весело блеснули. — Ну, конечно, подумала бы, что вы не привезли с собой в Нью-Йорк миссис Белфорд. И это очень жаль. Я с удовольствием повидала бы Мэриан. — Она слегка понизила голос. — Вы все такой же, Элвин.

Прекрасные глаза испытующе впились в мое лицо, ловили мой взгляд.

— Впрочем, нет, вы изменились, — поправилась она, и в ее голосе зазвучали мягкие ликующие нотки. — Теперь я вижу. Вы не забыли. Вы не забывали ни на год, ни на день, ни на час. Я ведь вам говорила, что не забудете.

Я смятенно ткнул соломинкой в ликер.

— Ради бога простите меня, — сказал я, поеживаясь под ее пристальным взглядом. — Но в том-то и дело. Я забыл. Я все забыл.

Она отмахнулась от моих слов. И очаровательно засмеялась над чем-то, что заметила в моем лице.

— До меня иногда доходили слухи о вас, — продолжала она. — Вы теперь такой видный адвокат где-то там на Западе — в Денвере, кажется? Или в Лос-Анджелесе? Должно быть, Мэриан очень вами

гордится. Вы, наверно, знаете, я вышла замуж через полгода после вашей женитьбы. Об этом писали в газетах. Одних цветов было на две тысячи долларов.

Как она раньше сказала — пятнадцать лет? Да, пятнадцать лет — это очень много.

— Не слишком ли поздно принести вам мои поздравления? — несколько робея, спросил я.

— Нет, если вы на это отважитесь, — ответила она с такой великолепной смелостью, что я умолк и принялся смущенно чертить ногтем по скатерти.

— Скажите мне только одно, — попросила она и порывисто наклонилась ко мне. — Я уже много лет хочу это знать... разумеется, просто из женского любопытства: решились ли вы после того вечера хоть раз коснуться белой розы, или понюхать ее... или только посмотреть на белую розу, влажную от росы и дождя?

Я отхлебнул из своего бокала.

— Стоит ли повторять, что я не могу ничего такого припомнить, — сказал я со вздохом. — Память моя никуда не годится. И надо ли говорить, как я об этом сожалею.

Дама облокотилась на стол, и взор ее снова пренебрег моими словами и каким-то своим таинственным путем проник мне прямо в душу. Она мягко рассмеялась, и как-то странно прозвучал ее смех: то был счастливый смех, да, и еще в нем слышалось довольство... но и печаль. Я попытался отвести глаза.

— Вы лжете, Элвин Белфорд, — с упоением шепнула она. — Да-да, я знаю: вы лжете.

Я тупо глядел в папоротники.

— Меня зовут Эдвард Пинкхаммер, — сказал я. — Я приехал сюда с делегатами всеамериканского конгресса провизоров. У нас на Западе сейчас возникло новое течение: мы предлагаем ставить флаконы с винносурьмянонатриевой солью и с виннокалиенатриевой солью иначе, чем ставили до сих пор, но вам это, наверно, неинтересно.

У входа в ресторан остановилась сверкающая коляска. Дама поднялась. Я взял ее протянутую руку и поклонился.

— Мне очень, очень жаль, что память мне изменила, — сказал я. — Я мог бы все вам объяснить, но, боюсь, вы не поймете. Вы не

соглашаетесь на Пинкхаммера, а я, право, не могу постичь эти... эти розы и все такое.

— Прощайте, мистер Белфорд, — ответила она все с той же грустно-счастливой улыбкой и села в коляску.

В тот вечер я пошел в театр. Когда я вернулся в гостиницу, около меня, как по волшебству, возник какой-то скромный с виду человек в темном костюме, — он полировал себе ногти шелковым носовым платком и, казалось, был всецело поглощен этим занятием.

— Мистер Пинкхаммер, — небрежно начал он, отдавая все внимание своему указательному пальцу, — не могли бы вы уделить мне несколько минут? Может быть, пройдем в ту комнату и поговорим?

— Извольте, — ответил я.

Он провел меня в маленькую отдельную гостиную. Там дожидалась какая-то пара. Дама, наверно, была бы очень хороша собой, если бы лицо ее не омрачали мучительная тревога и усталость. Изящная фигура, а черты лица, цвет волос и глаз как раз в моем вкусе. На ней был дорожный костюм; в необыкновенном волнении она впиалась в меня взглядом и прижала к груди дрожащую руку. Казалось, она готова кинуться ко мне, но стоявший рядом мужчина властным движением руки остановил ее. Потом он направился ко мне. Ему было лет сорок, на висках седина, лицо мужественное, серьезное.

— Белфорд, дружище, — сердечно сказал он, — я так рад снова тебя видеть! Конечно, мы не сомневались, что ты жив и здоров. Я же тебя предупреждал, что ты слишком переутомляешься. Теперь ты поедешь с нами и дома сразу придешь в себя.

Я насмешливо улыбнулся.

— Меня уже так часто обзывали Белфордом, что я, кажется, привык и перестал возмущаться. Но в конце концов это может и надоест. Не угодно ли вам постараться понять, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер и что я вас вижу первый раз в жизни?

Он не успел ответить: у женщины вырвался жалобный крик, почти рыдание. Она вскочила, и он напрасно пытался ее удержать.

— Элвин! — всхлипнула она, бросилась ко мне и крепко меня обняла. — Элвин! — снова крикнула она. — Не разбивай мне сердце! Я твоя жена, назови меня хоть раз по имени! Лучше бы ты умер, чем стал таким!

Я почтительно, но твердо отвел ее руки.

— Сударыня, — сказал я строго, — извините меня, но вы слишком опрометчиво принимаете на веру случайное сходство. Очень жаль, — продолжал я и засмеялся, так меня позабавила эта мысль, — что нас с этим Белфордом нельзя держать рядышком на одной полке, как винносурьямонатриевую соль с виннокалиенатриевой, тогда было бы легче отличить одного от другого. Если вам не понятно это иносказание, последите за работой всеамериканского конгресса провизоров.

Дама повернулась к своему спутнику и схватила его за руку.

— Что же это такое, доктор Волни? — простонала она. — Ох, да что же это?

Доктор повел ее к двери.

— Пойдите пока в свою комнату, — сказал он ей. — Я останусь и поговорю с ним. Его рассудок? Нет, не думаю... разве что задет какой-то небольшой участок мозга. Да, конечно, выздоровеет. Идите к себе и оставьте нас одних.

Дама вышла. Человек в темном костюме тоже вышел, по-прежнему с задумчивым видом полируя ногти. Кажется, он остался в вестибюле.

— Я хотел бы с вами поговорить, мистер Пинкхаммер, если разрешите, — сказал тот, кто остался.

— Пожалуйста, если вам так хочется, — ответил я. — Но уж извините, я устроюсь поудобней: я устал.

И я растянулся на кушетке у окна и закурил сигару. Он пододвинул стул поближе и уселся.

— Давайте без лишних слов, — начал он миролюбиво. — Вас зовут вовсе не Пинкхаммер.

— Я это знаю не хуже вас, — невозмутимо сказал я. — Но ведь нужно же человеку хоть какое-то имя. Могу вас заверить, что я совсем не в восторге от имени Пинкхаммер. Но когда надо вмиг себя как-то окрестить красивые имена почему-то не придумываются. Хотя... вдруг бы мне пришло в голову назваться Шерингхаузенем или Скроггинсом! По-моему, Пинкхаммер не так уж плохо.

— Вас зовут Элвин Белфорд, — очень спокойно продолжал доктор. — Вы один из лучших адвокатов в Денвере. Вы страдаете приступом амнезии и на время забыли, кто вы такой. Причиной было

переутомление и, возможно, слишком однообразная жизнь и недостаток удовольствий. Дама, которая только что вышла отсюда, — ваша жена.

— Я бы сказал, красивая женщина, — заметил я, немного поразмыслив. — Особенно мне понравился каштановый оттенок ее волос.

— Такой женой можно гордиться. С тех пор как вы исчезли, почти две недели она, можно сказать, не смыкала глаз. О том, что вы в Нью-Йорке, мы узнали из телеграммы Айсидора Ньюмена, это наш знакомый коммивояжер из Денвера. Он сообщил, что встретил вас в гостинице и вы его не узнали.

— Да, кажется, был такой случай, — сказал я. — Он назвал меня Белфордом, если не ошибаюсь. Но не пора ли вам представиться?

— Меня зовут Роберт Волни, доктор Волни. Я был вашим близким другом целых двадцать лет и пятнадцать из них — вашим врачом. Мы с миссис Белфорд приехали сюда искать вас, как только получили телеграмму. Постарайся, Элвин, дружище... постарайся все вспомнить!

— Что толку стараться? — возразил я и нахмурился. — Вы говорите, что вы врач. Тогда скажите: амнезия излечима? Когда человек теряет память, как она к нему возвращается — постепенно или сразу?

— Иногда постепенно и не до конца, а иногда так же внезапно, как пропала.

— Возьметесь ли вы меня лечить, доктор Волни? — спросил я.

— Старый друг, — ответил он, — я сделаю все, что только в моих силах и во власти науки, чтобы тебя излечить!

— Отлично, — сказал я. — Считайте, что я ваш больной. Но раз так, не забудьте о врачебной тайне.

— Ну, разумеется! — отвечал доктор Волни.

Я встал с кушетки. На стол посреди комнаты кто-то поставил вазу белых роз — большой букет белых роз, душистых, недавно сбрызнутых водой. Я выбросил их из окна как можно дальше и снова опустился на кушетку.

— Ну, вот что, Бобби, — сказал я, — лучше уж я вылечусь сразу. Я и сам устал от всего этого. А теперь поди приведи Мэриан. Но если

б ты знал, — прибавил я со вздохом и ткнул его пальцем в бок, — если
б ты знал, дружище, как это было восхитительно!

Муниципальный отчёт

*Города, спеси полны,
Кичливый ведут спор:
Один — от прибрежной волны,
Другой — с отрогов гор.*

Р. Киплинг

Ну, можно ли представить себе роман о Чикаго, или о Буффало, или, скажем, о Нэшвиле, штат Теннесси? В Соединённых Штатах всего три города, достойных этой чести: прежде всего, конечно, Нью-Йорк, затем Новый Орлеан и лучший из всех — Сан-Франциско.

Фрэнк Норрис

Перевод И. Кашкина.

Восток — это Восток, а Запад — это Сан-Франциско, таково мнение калифорнийцев. Калифорнийцы — не просто обитатели штата, а особая нация. Это южане Запада. Чикагцы не менее преданы своему городу; но если вы спросите чикагца, за что он любит свой город, он начнет заикаться и мямлить что-то о рыбе из озера Мичиган и новом здании тайного ордена «Чудаков». Калифорниец же за словом в карман не полезет.

Прежде всего он будет добрых полчаса рассуждать о благодатном климате, пока вы думаете о поданных вам счетах за уголь и о шерстяных фуфайках. А когда он, ошибочно приняв ваше молчание за согласие, войдет в раж, он начнет расписывать Город Золотых Ворот каким-то Багдадом Нового Света. И, пожалуй, по этому пункту опровержений не требуется. Но, дорогие мои родственники (кузены по Адаму и Еве)! Опрометчиво поступит тот, кто, положив палец на географическую карту, скажет: «В этом городе нет ничего романтического... Что может случиться в таком городе?» Да, дерзко и

опрометчиво было бы бросить в одной фразе вызов истории, романтике и издательству Рэнд и Мак-Нэлли^[23].

«Нэшвилль. Город; столица и ввозный порт штата Теннесси; расположен на реке Кэмберленд и на скрещении двух железных дорог. Считается самым значительным центром просвещения на Юге».

Я вышел из поезда в восемь часов вечера. Тщетно перерыв словарь в поисках подходящих прилагательных, я вынужден обратиться к языку фармацевтов.

Возьмите лондонского тумана тридцать частей, малярии десять частей, просочившегося светильного газа двадцать частей, росы, собранной на кирпичном заводе при восходе солнца, двадцать пять частей, запаха жимолости пятнадцать частей. Смешайте.

Эта смесь даст вам некоторое представление о нэшвилльском морозящем дожде. Не так пахуче, как шарики нафталина, и не так густо, как гороховый суп, а впрочем, ничего — дышать можно.

Я поехал в гостиницу в каком-то рыдване. Большого труда мне стоило воздержаться и не вскарабкаться, в подражание Сиднею Картону^[24], на его верх. Повозку тащила пара ископаемых животных, а правило ими что-то темное, но уже вырванное из тьмы рабства.

Я устал, и мне хотелось спать. Поэтому, добравшись до гостиницы, я поспешил уплатить пятьдесят центов, которые потребовал возница, и, честное слово, почти столько же прибавил на чай. Я знал их привычки, и у меня не было ни малейшего желания слушать его болтовню о старом хозяине и о том, что было «до войны».

Гостиница была одною из тех, которые описывают в рекламах как «заново отделанные». Это значит: на двадцать тысяч долларов новых мраморных колонн, изразцов, электрических люстр и медных плевательниц в вестибюле, а также новое расписание поездов и литография с изображением Теннессийского хребта во всех просторных номерах на втором этаже. Администрация вела себя безукоризненно, прислуга была внимательна, полна утонченной южной вежливости, медлительна, как улитка, и добродушна, как Рип

ван Винкль^[25]. А кормили так, что из-за одного этого стоило проехать тысячу миль. Во всем мире не найдется гостиницы, где вам подали бы такую куриную печенку «броше».

За обедом я спросил слугу-негра, что делается у них в городе. Он сосредоточенно раздумывал с минуту, потом ответил:

— Видите ли, сэр, пожалуй, что после захода солнца здесь ничего не делается.

Заход солнца уже состоялся — оно давно утонуло в морозящем дожде. Значит, этого зрелища я был лишен. Но я все-таки вышел на улицу, под дождь, в надежде увидеть хоть что-нибудь интересное.

«Он построен на неровной местности, и улицы его освещаются электричеством. Годовое потребление энергии на 32 470 долларов».

Выйдя из гостиницы, я сразу натолкнулся на международные беспорядки. На меня бросилась толпа не то бедуинов, не то арабов или зулусов, вооруженных... впрочем, я с облегчением увидел, что они вооружены не винтовками, а кнутами. И еще я заметил неясные очертания целого каравана темных и неуклюжих повозок и, слыша успокоительные выкрики: «Прикажете подать? Куда прикажете? Пятьдесят центов конец», — рассудил, что я не жертва, а всего-навсего седок.

Я проходил по длинным улицам, которые все поднимались в гору. Интересно было бы узнать, как они спускаются потом обратно. А может быть, они вовсе не спускаются в ожидании нивелировки. На некоторых «главных» улицах я видел там и сям освещенные магазины; видел трамвай, развозивший во все концы почтенных горожан; видел пешеходов, упражнявшихся в искусстве разговора, слышал взрывы не слишком веселого смеха из заведения, в котором торговали содовой водой и мороженым. На «неглавных» улицах приютились дома, под крышами которых мирно текла семейная жизнь. Во многих из них за скромно опущенными шторами горели огни, доносились звуки рояля, ритмичные и благонравные. Да, действительно, здесь «мало что

делалось». Я пожалел, что не вышел до захода солнца, и вернулся в гостиницу.

«В ноябре 1864 года отряд южан генерала Гуда двинулся против Нэшвиля, где и окружил части северных войск под командованием генерала Томаса. Этот последний сделал вылазку и разбил конфедератов в жестоком бою».

Я всю свою жизнь был свидетелем и поклонником удивительной меткости, какой достигают в мирных боях южане, жуящие табак. Но в этой гостинице меня ожидал сюрприз. В большом вестибюле имелось двенадцать новых, блестящих, вместительных, внушительного вида медных плевательниц, настолько высоких, что их можно было бы назвать урнами, и с такими широкими отверстиями, что на расстоянии не более пяти шагов лучшая из подающих дамской бейсбольной команды, пожалуй, сумела бы закинуть мяч в любую из них. Но хотя тут свирепствовала и продолжала свирепствовать страшная битва, враги не были побеждены. Они стояли блестящие, новые, внушительные, вместительные, нетронутые. Но — боже правый! — изразцовый пол, чудный изразцовый пол! Я невольно вспомнил битву под Нэшвилем и по глупой своей привычке делать выводы заключил, что меткостью стрельбы управляют законы наследственности.

Здесь я в первый раз увидел Уэнтуорта Кэсуэла, майора Кэсуэла, если соблюсти неуместную южную учтивость. Я понял, что это за тип, лишь только сподобился увидеть его. Крысы не имеют определенного географического местожительства. Мой старый друг А. Теннисон сказал, и сказал по своему обыкновению метко:

Пророк, прокляни болтливый язык
И прокляни британскую гадину крысу.

Будем рассматривать слово «британский» как подлежащее замене *ad libitum*^[26]. Крыса везде остается крысой.

Человек этот сновал по вестибюлю гостиницы, как голодная собака, которая не помнит, где она зарыла кость. У него было широкое лицо, мясистое, красное, своей сонной массивностью напоминавшее Будду. Он имел только одно достоинство — был очень гладко выбрит. До тех пор пока человек бреется, печать зверя не ляжет на его лицо. Я думаю, что, не воспользуясь он в этот день бритвой, я бы отверг его авансы и в уголовную летопись мира не было бы внесено еще одно убийство.

Я стоял в пяти шагах от одной из плевательниц, когда майор Кэсуэл открыл по ней огонь. У меня хватило наблюдательности, чтобы заметить, что нападающая сторона пользуется скорострельной артиллерией, а не каким-нибудь охотничьим ружьем. Поэтому я быстро сделал шаг в сторону, что дало майору повод извиниться передо мной как представителем мирного населения. Язык у него был как раз «болтливый». Через четыре минуты он стал моим приятелем и потащил меня к стойке.

Я хочу оговориться здесь, что я и сам южанин, но не по профессии или ремеслу. Я избегаю галстуков-шнурков, шляп с широкими опущенными полями, длинных черных сюртуков «принц Альберт», разговоров о количестве тюков хлопка, уничтоженных генералом Шерманом, и жевания табака. Когда оркестр играет «Дикси»^[27], я не рукоплещу. Я только усаживаюсь поудобнее в моем кожаном кресле, заказываю еще бутылку пива и жалею, что Лонгстрит^[28] не... Но к чему сожаления?

Майор Кэсуэл ударил кулаком по стойке, и ему отозвалась первая пушка на форте Сэмтер. Когда он выстрелил из последней — при Аппоматоксе, у меня появилась слабая надежда. Но он перешел на родословные древа и выяснил, что Адам приходился семье Кэсуэл всего лишь троюродным братом, да и то только боковой ее ветви. Покончив с генеалогией, он, к великому моему отвращению, стал распространяться о своих семейных делах. Он упомянул о своей жене, проследил ее происхождение вплоть до Евы и яростно опроверг клеветнические слухи о том, что у нее будто бы есть какие-то родственные связи с потомками Каина.

К этому времени у меня родилось подозрение, что он затеял весь этот шум с целью заставить меня забыть, что напитки заказаны им, и в надежде, что я, заговоренный им до полусмерти, заплачу за них. Но

когда мы выпили, он со звоном швырнул на стойку серебряный доллар. После этого мне ничего не оставалось, как только потребовать вторую порцию. Заплатив за нее, я сухо и решительно простился с ним; довольно было с меня его общества. Но прежде чем я отделался от него, он успел громко похвастаться доходами своей жены и показать мне полную пригоршню серебряной монеты.

Когда я подошел к конторке за ключом, портье вежливо сказал мне:

— Если этот Кэсуэл надоедает вам, мы можем его выпроводить. Это несносное существо, бездельник, без каких-либо явных средств к существованию, хотя у него большей частью кое-какие деньги водятся. К сожалению, у нас нет повода вышвырнуть его отсюда на законном основании.

— Нет, зачем же, — сказал я, подумав. — Мне, собственно, не на что жаловаться. Но имейте в виду, что я действительно не ищу его общества. Ваш город, — продолжал я, — по-видимому, очень тихий город. Какого рода увеселения, приключения или развлечения можете вы предложить путешественнику?

— В будущий четверг, сэр, сюда приезжает цирк. Там... Да вот я поищу объявление и пришлю его вам в номер, когда вам подадут воду со льдом. Покойной ночи.

Поднявшись в свою комнату, я выглянул из окна. Было всего только десять часов, но передо мной лежал уже безмолвный город. Продолжало моросить, кое-где блестели огоньки, но на таком далеком расстоянии друг от друга, как коринки в сладкой булке, продаваемой на дамском благотворительном базаре.

— Тихое место, — сказал я себе, когда мой первый башмак ударился в потолок над головой постояльца, занимавшего комнату внизу. — В здешней жизни нет того, что придает красочность и разнообразие городам Запада и Востока. Это просто хороший, обыкновенный, скучный, деловой город.

«Нэшвилл занимает одно из первых мест среди промышленных центров страны. Он является пятым обувным рынком Соединенных Штатов, самым крупным на Юге поставщиком конфет и печенья и ведет обширную

оптовую торговлю мануфактурой, колониальными и аптекарскими товарами».

Я должен сказать вам, зачем я приехал в Нэшвилль. Могу вас уверить, что это отступление так же скучно для меня, как и для вас. Ехал я в другое место, по своим делам, но один нью-йоркский издатель поручил мне завернуть сюда для установления личной связи между ним и одним из его сотрудников — А. Эдэр.

От Эдэр (кроме почерка, редакция о нем ничего не знала) поступило всего несколько «эссе» (утраченное искусство!) и стихотворений. Просмотрев их за завтраком, редактор одобрительно чертыхнулся, а затем отрядил меня с поручением так или иначе обойти названного Эдэра и законтрактовать на корню всю его (или ее) литературную продукцию по два цента за слово, пока другой издатель не предложил ему (или ей) десять, а то и двадцать.

На следующее утро в девять часов, скушав куриную печенку «броше» (попробуйте непременно, если попадете в эту гостиницу), я вышел под дождь, которому все еще не предвиделось конца. На первом же углу я наткнулся на дядю Цезаря. Это был дюжий негр, древнее пирамид, с седыми волосами и лицом, напомнившим мне сначала Брута, а через секунду покойного короля Сеттивайо^[29]. На нем было необыкновенное пальто. Такого я еще ни на ком не видел и, должно быть, никогда не увижу. Оно доходило ему до лодыжек и было некогда серым, как военная форма южан. Но дождь, солнце и годы так испестрили его, что рядом с ним плащ Иосифа показался бы бледной гравюрой в одну краску^[30]. Я останавливаюсь на описании этого пальто потому, что оно играет роль в последующих событиях, до которых мы никак не можем дойти, так как трудно ведь представить себе, что в Нэшвилле могло произойти какое-нибудь событие.

Пальто, по-видимому, некогда было офицерской шинелью. Капюшона на нем не осталось. Весь перед его был раньше богато отделан галуном и кисточками. Но галун и кисточки теперь тоже исчезли. На их месте был терпеливо пришит, вероятно какой-нибудь сохранившейся еще черной «мамми», новый галун, сделанный из мастерски скрученной обыкновенной бечевки. Бечевка была растрепана и раздергана. Это безвкусное, но потребовавшее великих

трудоу изделие призвано было, по-видимому, заменить исчезнувшее великолепие, так как веревка точно следовала по кривой, оставленной бывшим галуном. И в довершение смешного и жалкого вида одеяния все пуговицы на нем, кроме одной, отсутствовали. Уцелела только вторая сверху. Пальто завязывалось веревочками, продетыми в петли и в грубо проткнутые с противоположной стороны дырки. На свете еще не было одеяния, столь фантастически разукрашенного и испещренного таким количеством оттенков. Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдоллара, была пришита толстой бечевкой.

Негр стоял около кареты, такой древней, что, должно быть, еще Хам по выходе из ковчега запрягал в нее пару чистых и занимался извозничьим промыслом. Когда я подошел, он открыл дверцу, вытащил метелку из перьев, помахал ею для видимости и сказал глухим, рокочущим басом:

— Пожалуйте, сар. Карета чистая, ни пылинки нет. Прямо с похорон, сар.

Я вывел заключение, что ради таких торжественных okazji, как похороны, кареты здесь подвергаются особой чистке. Оглядев улицу и ряд колымаг, стоявших у панели, я убедился, что выбирать не из чего. В своей записной книжке я нашел адрес Эдэр.

— Мне нужно на Джессамайн-стрит, номер восемьсот шестьдесят один, — сказал я, собираясь уже влезть в карету.

Но в эту минуту огромная рука старого негра загородила мне вход. На его массивном и мрачном лице промелькнуло выражение подозрительности и неприязни. Затем, быстро успокоившись, он спросил заискивающе:

— А зачем вы туда едете, сар?

— А тебе какое дело? — сказал я довольно резко.

— Никакого, сар, никакого. Только улица это тихая, по делам туда никто не ездит. Пожалуйста, садитесь. Сиденье чистое, я прямо с похорон, сар.

Пути было, вероятно, мили полторы. Я ничего не слышал, кроме страшного гроыхания древней повозки по неровной каменной мостовой. Я ничего не ощущал, кроме мелкого дождя, пропитанного теперь запахом угольного дыма и чего-то вроде смеси дегтя с цветами

олеандра. Сквозь струящуюся по стеклам воду я смутно различал только два длинных ряда домов.

«Город занимает площадь в 10 квадратных миль; общее протяжение улиц 181 миля, из которых 137 миль мощеных; магистрали водопровода, постройка которого стоила 2 000 000 долларов, составляют 77 миль».

Номер 861 по Джессамайн-стрит оказался полуразрушенным плантаторским домом. Он стоял отступя шагов тридцать от улицы и был заслонен великолепной купой деревьев и неподстриженным кустарником; кусты самшита, посаженные вдоль забора, почти совсем скрывали его. Калитку удерживала веревочная петля, наброшенная на ближайший столбик забора. Но тому, кто входил в самый дом, становилось понятно, что номер восемьсот шестьдесят один только остов, только тень, только призрак былого великолепия. Впрочем, в рассказе я еще туда не вошел.

Когда карета перестала гроыхать и усталые четвероногие остановились, я протянул негру пятьдесят центов и прибавил еще двадцать пять с приятным сознанием своей щедрости. Он отказался взять деньги.

— Два доллара, сар, — сказал он.

— Это почему? — спросил я. — Я прекрасно слышал твои выкрики у гостиницы: «Пятьдесят центов в любую часть города».

— Два доллара, сар, — упрямо повторил он. — Это очень далеко от гостиницы.

— Это в черте города, — доказывал я. — Не думай, что ты подцепил желторотого янки. Ты видишь эти горы, — продолжал я, указывая на восток (хотя я и сам за дождем ничего не видел), — ну, так знай, что я родился и вырос там. А ты, глупый старый негр, неужели не умеешь распознавать людей?

Мрачное лицо короля Сеттивайо смягчилось.

— Так вы с Юга, сар? Это ваши башмаки сбили меня с толку: для джентльмена с Юга у них носы слишком острые.

— Теперь, я полагаю, плата будет пятьдесят центов? — непреклонно сказал я.

Прежнее выражение жадности и неприязни вернулось на его лицо, оставалось на нем десять секунд и исчезло.

— Сар, — сказал он, — пятьдесят центов правильная плата, только мне нужно два доллара, обязательно нужно два доллара. Не то чтобы я требовал их с вас, сар, раз уж я знаю, что вы сами с Юга. А только я так говорю, что мне обязательно надо два доллара... А седоков нынче мало.

Теперь его тяжелое лицо выражало спокойствие и уверенность. Ему повезло больше, чем он рассчитывал. Вместо того, чтобы подцепить желторотого новичка, не знающего таксы, он наткнулся на старожилу.

— Ах ты, бесстыжий старый плут, — сказал я, опуская руку в карман. — Следовало бы тебя отправить в полицию.

В первый раз я увидел у него улыбку. Он знал. Прекрасно знал. Знал с самого начала.

Я дал ему две бумажки по доллару. Протягивая их ему, я обратил внимание, что одна из них пережила немало передраг. Правый верхний угол был у нее оторван, и, кроме того, она была разорвана посередине и склеена. Кусочек тончайшей голубой бумаги, наклеенной по надрыву, делал ее годной для дальнейшего обращения.

Но довольно пока об этом африканском бандите; я оставил его совершенно удовлетворенным, приподнял веревочную петлю и открыл скрипучую калитку.

Как я уже говорил, передо мною был только остов дома. Кисть маляра уже лет двадцать не касалась его. Я не мог понять, почему сильный ветер не смел его до сих пор, как карточный домик, пока не взглянул опять на тесно обступившие его деревья — на деревья, которые видели битву при Нэшвиле, но все еще простирали свои ветви вокруг дома, защищая его от бурь, от холода и от врагов.

Азалия Эдэр — седая женщина лет пятидесяти, потомок кавалеров, тоненькая и хрупкая, как ее жилище, одетая в платье, дешевле и опрятней которого трудно себе представить, — приняла меня с царственной простотой.

Гостиная казалась величиной в квадратную милю, потому что в ней не было ничего, кроме книг на некрашенных белых сосновых

полках, треснувшего мраморного стола, лоскутного коврика, волосяного дивана без волоса и двух или трех стульев. Да, была еще картина, нарисованная пастелью и изображавшая букет анютиных глазок. Я оглянулся, ища портрет Эндрю Джексона^[31] и корзинку из сосновых шишек, но их не было.

Я побеседовал с Азалией Эдэр и кое-что расскажу вам об этом. Детище старого Юга, она была заботливо возвращена среди окружавшего ее мирного уюта. Познания ее были не обширны, но глубоки и ярко оригинальны. Она воспитывалась дома, и ее знание света основывалось на умозаклчениях и интуиции. Из таких людей и состоит малочисленная, но драгоценная и редкая порода эссеистов. Пока она говорила со мной, я бессознательно потирал пальцы, виновато стараясь смахнуть с них несуществующую пыль от кожаных корешков Лэмба, Чосера, Хэзлита, Марка Аврелия, Монтеня и Гуда. Что за прелесть эта Азалия Эдэр! Какая ценная находка! В наши дни все знают так много — слишком много! — о действительной жизни.

Мне было совершенно ясно, что Азалия Эдэр очень бедна. «У нее есть дом и есть во что одеться, но больше, вероятно, ничего», — подумалось мне. Таким образом, раздираемый между моими обязательствами по отношению к издателю и преданностью поэтам и эссеистам, сражавшимся против генерала Томаса в долине Кэмберленда, я слушал ее голос, звучащий, как клавикорды, и понял, что не в силах повести речь о договорах. В присутствии девяти муз и трех граций не так-то легко низвести уровень беседы до двух центов. «Придется приехать еще раз, — сказал я себе. — Может быть, я тогда настроюсь на коммерческий лад». Но все же я сообщил ей о цели моего приезда, и деловой разговор был назначен на три часа следующего дня.

— Ваш город, — сказал я, готовясь уходить (в это время всегда говорят банальные фразы), — по-видимому, очень тихий, спокойный, так сказать, семейный город, где редко случается что-нибудь из ряда вон выходящее.

«Он поддерживает с Западом и Югом обширную торговлю скобяными товарами, и его мукомольные мельницы пропускают свыше 2000 баррелей в день».

Азалия Эдэр, видимо, размышляла о чем-то.

— Я никогда не думала о нем с этой точки зрения, — сказала она с какой-то свойственной ей напряженной искренностью. — Разве происшествия не случаются как раз в тихих, спокойных местах? Мне представляется, что при сотворении мира, если б кто-нибудь в первый же понедельник высунулся из окна, он услышал бы, как скатываются комья глины с Божьей лопаты, только что нагромоздившей эти первозданные горы. А к чему свелось самое громкое начинание мировой истории? Я говорю о Вавилонской башне. К двум-трем страницам на эсперанто в «Североамериканском обозрении».

— Конечно, — глупо ответил я, — человеческая природа везде одинакова, но в некоторых городах как-то больше красочности... э-э... больше драматизма и движения и... э-э... романтики, чем в других.

— Только на первый взгляд, — сказала Азалия Эдэр. — Я много раз путешествовала вокруг света на золотом воздушном корабле, крыльями которого были книги и мечты. Я видела (во время одной из моих воображаемых поездок), как турецкий султан собственноручно удавил шнурком одну из своих жен за то, что она открыла лицо на людях. Я видела, как один человек в Нэшвиле разорвал билеты в театр, потому что жена его собиралась пойти туда, закрыв лицо... слоем пудры. В китайском квартале Сан-Франциско я видела, как девушку-рабыню Синг-И понемногу погружали в кипящее миндальное масло, заставляя ее принести клятву, что она больше никогда не увидится со своим возлюбленным-американцем. Она поклялась, когда кипящее масло поднялось на три дюйма выше колен. Я видела, как недавно на вечеринке в восточном Нэшвиле от Китти Морган отвернулись семь ее закадычных школьных подруг за то, что она вышла замуж за маляра. Кипящая олифа доходила ей до самого сердца, но посмотрели бы вы, с какой прелестной улыбкой она порхала от стола к столу. О да, это скучный город. Только несколько миль красных кирпичных домов, грязь, лавки и лесные склады.

Кто-то осторожно постучал с черного хода. Азалия Эдэр мягко извинилась и пошла узнать, кто это. Она вернулась через три минуты, помолодевшая на десять лет, глаза ее блестели, на щеках проступил легкий румянец.

— Вы должны выпить у меня чашку чаю со сладкими булочками, — сказала она.

Она позвонила в маленький металлический колокольчик. Явилась девочка-негритянка лет двенадцати, босая, не очень опрятная, и, засунув большой палец в рот, грозно выпучила на меня глаза.

Азалия Эдэр открыла небольшой потертый кошелек и достала оттуда бумажный доллар — доллар с оторванным правым верхним углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Не могло быть сомнения — это была одна из бумажек, которые я дал разбойнику-негру.

— Сходи на угол, Импи, к мистеру Бейкеру, — сказала она, передавая девочке доллар, — и возьми четверть фунта чая — того, который мы всегда берем, — и на десять центов сладких булочек. Иди скорей. У нас как раз вышел весь чай, — объяснила она мне.

Импи вышла через заднюю дверь. Не успел еще затихнуть топот ее босых ног по крыльцу, как дикий крик, — я был уверен, что кричала она, — огласил пустой дом. Затем глухой и хриплый голос рассерженного мужчины смешался с писком и невнятным лепетом девочки.

Азалия Эдэр встала, не выказывая ни тревоги, ни удивления, и исчезла. Еще минуты две я слышал хриплое мужское ворчание, какое-то ругательство и возню, затем она вернулась ко мне, по-прежнему спокойная.

— Это очень большой дом, — сказала она, — и я сдаю часть его жильцу. К сожалению, мне приходится отменить мое приглашение на чай. В магазине не оказалось чая того сорта, который я всегда беру. Мистер Бейкер обещал достать мне его завтра.

Я был убежден, что Импи не успела еще уйти из дома. Я справился, где тут поближе проходит трамвай, и простился. Когда я уже порядочно отошел от дома, я вспомнил, что не спросил Азалию Эдэр, как ее настоящая фамилия. Ну, да все равно, завтра узнаю.

В этот же день я ступил на стезю порока, на которую привел меня этот город без происшествий. Я прожил в нем только два дня, но за это время успел бессовестно налгать по телеграфу и сделаться сообщником убийства, правда, сообщником *post factum*, если существует такое юридическое понятие.

Когда я заворачивал за угол, ближайший к моей гостинице, африканский возница, обладатель многоцветного, единственного в своем роде пальто, перехватил меня, распахнул тюремную дверь своего передвижного саркофага, помахал метелкой из перьев и затянул свое обычное:

— Пожалуйста, сар, карета чистая, только что с похорон. Пятьдесят центов в любой...

Тут он узнал меня и широко осклабился.

— Простите, сар... Ведь вы — тот джентльмен, которого я возил нынче утром. Благодарю вас, сар.

— Завтра, в три часа, мне опять нужно на Джессамайн-стрит, — сказал я. — Если ты будешь здесь, я поеду с тобой. Так ты знаешь мисс Эдэр? — добавил я, вспомнив свой бумажный доллар.

— Я принадлежал ее отцу, судье Эдэру сар, — ответил он.

— Похоже, что она сильно нуждается, — сказал я. — Невелик у нее доход, а?

Опять передо мной мелькнуло свирепое лицо короля Сеттивайо и снова превратилось в лицо старого извозчика-вымогателя.

— Она не голодает, сар, — тихо сказал он, — у нее есть доходы... да, у нее есть доходы.

— Я заплачу тебе пятьдесят центов за поездку, — сказал я.

— Совершенно правильно, сар, — смиренно ответил он. — Это только сегодня мне необходимо было иметь два доллара, сар.

Я вошел в гостиницу и заставил солгать телеграфный провод. Я протелеграфировал издателю: «Эдэр настаивает восьми центах слово». Ответ пришел такого содержания: «Соглашайтесь немедленно тупица».

Перед самым обедом «майор» Уэнтуорт Кэсуэл атаковал меня так радостно, будто я был его старым другом, которого он давно не видел. Я еще не встречал человека, который вызвал бы во мне такую ненависть и от которого так трудно было бы отделаться. Он застиг меня у стойки, поэтому я никак не мог разразиться тирадой о вреде алкоголя. Я с удовольствием первым заплатил бы за выпитое, чтобы избавиться от него; но он был одним из тех презренных, кричащих, выставяющих себя напоказ пьяниц, которым нужен военный оркестр и фейерверк в виде сопровождения к каждому центу, истраченному ими на свою блажь.

С таким видом, словно дает миллион, он вытащил из кармана два бумажных доллара и бросил один из них на стойку. И я снова увидел бумажный доллар с оторванным правым углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Это опять был мой доллар. Другого такого быть не могло.

Я поднялся в свою комнату. Морозящий дождь и скука унылого, лишённого событий южного города навеяли на меня тоску и усталость. Помню, что перед тем, как лечь, я успокоился относительно этого таинственного доллара (в Сан-Франциско он послужил бы прекрасной завязкой для детективного рассказа), сказав себе: «Здесь, как видно, существует трест извозчиков, и в нем очень много акционеров. И как быстро выдают у них дивиденды! Хотел бы я знать, что было бы, если бы...» Но тут я заснул.

На следующий день король Сеттивайо был на своем месте, и мои кости снова протряслись в его катафалке до Джессамайн-стрит. Выходя, я велел ему ждать и доставить меня обратно.

Азалия Эдэр выглядела еще более чистенькой, бледной и хрупкой, чем накануне. Подписав договор (по восьми центов за слово), она совсем побелела и вдруг стала сползать со стула. Без особого труда я поднял ее, положил на допотопный диван, а затем выбежал на улицу и заорал кофейного цвета пирату, чтобы он привез доктора. С мудростью, которой я не подозревал в нем, он покинул своих одров и побежал пешком, очевидно понимая, что времени терять нечего. Через десять минут он вернулся с седовласым, серьезным, сведущим врачом. В нескольких словах (стоивших много меньше восьми центов каждое) я объяснил ему свое присутствие в этом пустом таинственном доме. Он величаво поклонился и повернулся к старому негру.

— Дядя Цезарь, — спокойно сказал он, — сбегай ко мне и скажи мисс Люси, чтоб она дала тебе полный кувшин свежего молока и полстакана портвейна. Живей. Только не на лошадях. Беги пешком — это дело спешное.

Видимо, доктор Мерримен тоже не доверял резвости коней моего сухопутного пирата. Когда дядя Цезарь вышел, шагая неуклюже, но быстро, доктор очень вежливо, но вместе с тем и очень внимательно оглядел меня и наконец, очевидно, решил, что говорить со мной можно.

— Это от недоедания, — сказал он. — Другими словами — это результат бедности, гордости и голодовки. У миссис Кэсуэл много преданных друзей, которые были бы рады помочь ей, но она не желает принимать помощь ни от кого, кроме как от этого старого негра, дяди Цезаря, который когда-то принадлежал ее семье.

— Миссис Кэсуэл? — с удивлением переспросил я. А потом я взглянул на договор и увидел, что она подписалась: «Азалия Эдэр-Кэсуэл».

— Я думал, что она мисс Эдэр, — сказал я.

— ...вышедшая замуж за пьяного, никуда не годного бездельника, сэр, — закончил доктор. — Говорят, он отбирает у нее даже те крохи, которыми поддерживает ее старый слуга.

Когда появилось молоко и вино, доктор быстро привел Азалию Эдэр в чувство. Она села и стала говорить о красоте осенних листьев (дело было осенью), о прелести их окраски. Мимоходом она коснулась своего обморока как следствия давнишней болезни сердца. Она лежала на диване, а Импи обмахивала ее веером. Доктор торопился в другое место, и я дошел с ним до подъезда. Я сказал ему, что имею намерение и возможность выдать Азалии Эдэр небольшой аванс в счет ее будущей работы в журнале, и это его, по-видимому, обрадовало.

— Между прочим, — сказал он, — вам, может быть, небезынтересно узнать, что вашим кучером был потомок королей. Дед старика Цезаря был королем в Конго. Вы могли заметить, что и у самого Цезаря царственная осанка.

Когда доктор уже уходил, я услышал голос дяди Цезаря:

— Так как же это... он оба доллара отнял у вас, мисс Зали?

— Да, Цезарь, — послышался ее слабый ответ.

Тут я вошел и закончил с нашим будущим сотрудником денежные расчеты. За свой страх я выдал ей авансом пятьдесят долларов, уверив ее, что это необходимая формальность для скрепления нашего договора. Затем дядя Цезарь отвез меня назад в гостиницу.

Здесь оканчивается та часть истории, которой я сам был свидетелем. Остальное будет только голым изложением фактов.

Около шести часов я вышел прогуляться. Дядя Цезарь был на своем углу. Он открыл дверцу кареты, помахал метелкой и затянул свою унылую формулу:

— Пожалуйста, сар, пятьдесят центов в любую часть города. Карета совершенно чистая, сар, только что с похорон...

Но тут он узнал меня. По-видимому, зрение его слабело. Пальто его расцветилось еще несколькими оттенками; веревка-шнурок еще больше растрепалась, и последняя остававшаяся пуговица — желтая роговая пуговица — исчезла. Жалким потомком королей был этот дядя Цезарь!

Часа два спустя я увидел возбужденную толпу, осаждавшую вход в аптеку. В пустыне, где никогда ничего не случается, это была манна небесная, и я протолкался в середину толпы. На импровизированном ложе из пустых ящиков и стульев покоились тленные останки майора Уэнтуорта Кэсуэла. Доктор попытался обнаружить и его нетленную душу, но пришел к выводу, что таковая отсутствует.

Бывший майор был найден мертвым на глухой улице и принесен в аптеку любопытными и скучающими согражданами. Все подробности указывали на то, что это бывшее человеческое существо выдержало отчаянный бой. Какой бы ни был он негодяй и бездельник, он все же оставался воином. Но он проиграл сражение. Кулаки его были сжаты так крепко, что не было возможности разогнуть пальцы. Знавшие его добросердечные граждане старались найти в своем лексиконе какое-нибудь доброе слово о нем. Один добродушного вида человек после долгих размышлений сказал:

— Когда Кэсу было четырнадцать лет, он был одним из лучших в школе по правописанию.

Пока я стоял тут, пальцы правой руки покойника, свесившиеся с края белого соснового ящика, разжались и выронили что-то около моей ноги. Я спокойно прикрыл это «что-то» подошвой, а через некоторое время поднял и положил в карман. Я понял, что в последней борьбе его рука бессознательно схватила этот предмет и зажала его в предсмертной судороге.

В тот вечер в гостинице главной темой разговора, за исключением политики и «сухого закона», была кончина майора Кэсуэла. Я слышал, как один человек сказал группе слушателей:

— По моему мнению, джентльмены, Кэсуэла убил один из этих хулиганов-негров, из-за денег. Сегодня днем у него было пятьдесят долларов, он их многим показывал. А когда его нашли, денег при нем не оказалось.

Я выехал из города на следующее утро в девять часов, и когда поезд шел по мосту через Кэмберленд, я вынул из кармана желтую роговую пуговицу величиной с полдоллара, с еще висевшими на ней раздерганными концами бечевки, и выбросил ее из окна в тихую мутную воду.

Хотел бы я знать, что-то делается сейчас в Буффало?

Психея и небоскрёб

Перевод М. Кан.

Если вы философ, вы можете сделать вот что: подняться на крышу большого дома и, взирая с трехсотфутовой высоты на собратьев-людей, презирать их как ничтожных букашек. Они ползают, они толкуются и кружат, бесцельно, тупо, бестолково, точно какие-нибудь несуразные водяные клопы на пруду в летнюю пору. Не скажешь даже, что они снуют, как муравьи, ибо муравей, с присущим ему завидным здравомыслием, всегда знает, как ему быстрее попасть домой. Положение у муравья на земле невысокое, однако же как часто бывает, что он уж и домой пришел, и шлепанцы достал из-под кровати, а вы еще томитесь на высоте своего положения, застряв на станции надземки.

Итак, для философа-крышелаза человек — всего лишь презренная, ничтожная козявка. Биржевые маклеры и поэты, миллионеры, чистильщики сапог, красавицы, землекопы и политики превращаются в черные точки, которые на улице шириной в ваш палец увертываются от других черных точек чуть покрупней размером.

Сам город со столь возвышенной точки зрения, съезжась, предстает сумбурным скопищем перекошенных строений в немыслимо искаженной перспективе, могучий океан преображается в лужу, сам земной шар — в мячик для гольфа, затерянный во вселенной. Все будничное и мелкое отступает прочь. Философ обращает свой взор к небесам, и, вдохновленный новым видением мира, воспаряет душой. Он ощущает себя потомком Вечности и преемником Времени. Он чувствует, что Пространство тоже должно достаться ему в законное и неотъемлемое наследство, и, воспламенясь, размышляет о том, как когда-нибудь существа, подобные ему, по таинственным воздушным тропам устрелятся от планеты к планете. Крошечный мир у него под ногами, на котором, точно песчинка на Гималайской вершине, покоится стальная вышка небоскреба, — лишь бесконечно малая крупинка в круговороте

неисчислимого множества других таких же. Честолюбивые надежды черненьких суетливых букашек там внизу, их достижения, их пустяковые победы и привязанности — что они в сравнении с безмятежной и грозной беспредельностью вселенной, окружающей со всех сторон их ничтожный город?

Что философа непременно посетят такие мысли, можно ручаться смело. Их специально отобрали из различных философских направлений, какие только есть на свете, и, снабдив в конце, как надлежит, вопросительным знаком, утвердили как непрменный образец глупокомыслия на большой высоте. И когда философ садится в лифт и едет вниз, ум его обогащен, душа полна покоя, взгляды на сущность мироздания широки, как пряжка на поясе Ориона.

Однако если вас зовут Дэзи и вам девятнадцать лет, если вы работаете в кондитерской на Восьмой авеню и получаете шесть долларов в неделю, при том что встаете в шесть тридцать утра и трудитесь до девяти вечера, а живете в холодной и тесной, пять футов на восемь, меблированной каморке и тратите на завтрак всего десять центов, если к тому же вы никогда не изучали философию — тогда с высоты небоскреба вы будете, возможно, смотреть на вещи иначе.

Двое вздыхали о непричастной к философии Дэзи, двое домогались ее руки. Первым был Джо, владелец самой маленькой лавочки в Нью-Йорке. Она была примерно с ящик, в каких хранят рабочий инструмент, и лепилась, наподобие ласточкина гнезда, к углу небоскреба в деловой части города. В ней продавались газеты, фрукты, конфеты, сборники песен, папиросы, а летом и лимонад. Когда же, трясая заиндевевшими кудрями, приходила суровая зима и загоняла Джо с его фруктами в помещение, то места в лавке оставалось в обрез на хозяина, его товар, печурку величиной с графинчик для уксуса и на одного покупателя.

Джо не принадлежал к той нации, что производит у нас фурор своими фугами и фруктами. Он был толковый молодой американец, который понемногу откладывал деньги и хотел, чтобы Дэзи помогала ему их проживать. Он уже три раза делал ей предложение. И любовная песня его звучала так:

— Ты знаешь, Дэзи, как я хочу, чтобы мы поженились, я и денег поднакопил. Магазин у меня, правда, не такой уж большой...

— Ну да, серьезно? — отзывалась та, что была непричастна к философии. — А говорят, тебя сам Уонамейкер^[32] уламывает сдать ему излишки помещения на будущий год.

Каждый день утром и вечером Дэзи проходила мимо угла, где притулилась лавчонка Джо. И приветствие ее обычно звучало так:

— Эй, в конуре, как дела? Что-то, смотрю, у тебя стало пустовато. Не иначе, продал пачку жевательной резинки.

— Да, места здесь немного, это точно, — с широкой усмешкой отвечал ей Джо, — но на тебя, Дэз, хватит. Мы с магазином ждем не дождемся тебя в хозяйки. Ты уж нас долго не томи, хорошо?

— Магазин! — Дэзи с презрением морщила вздернутый носик. — Не магазин, а консервная банка! Ждете, говоришь? Ну-ну. Только придется тебе, Джо, выкинуть фунтов сто сластей, а то мне не уместиться.

— Что ж, с удовольствием, ведь это выйдет так на так, — галантно говорил Джо.

Жизнь Дэзи и без того протекала в узких границах. На работе нужно было двигаться бочком, чтобы протиснуться между полками и прилавком. Дома было больше уюта, чем свободного места. Стены стояли так близко друг от друга, что при малейшем движении громыхали отставшие обои. Рассматривая в зеркале свою каштановую пышную прическу, Дэзи могла зажечь одной рукой газ, а другой в это же время закрыть дверь. На комодке стояла карточка Джо в золоченой рамке, и иногда при взгляде на нее... но тут мысль Дэзи неизменно обращалась к потешной лавочке, приткнутой, как ящик из-под мыла, к углу огромного здания, и вместо нежного вздоха слышался беззаботный смех.

Второй поклонник появился у Дэзи на несколько месяцев позже, чем Джо. Он снял комнату с пансионом в том же доме, где жила она. Звали его Дебстер, и он был философ. Достоинства этого совсем еще молодого человека бросались в глаза, как европейские наклейки на чемодане у жителя Пассейка, штат Нью-Джерси. Свои знания он почерпнул из энциклопедий и справочников, но что касается мудрости, она промчалась мимо, а он остался на обочине, отфыркиваясь и не успев заметить хотя бы номер ее автомобиля. Он мог, и не пропускал случая, рассказать вам, из чего состоит вода и почему человеку полезно есть горох и телятину, какой в Библии

самый короткий стих и сколько фунтов гвоздей уйдет на то, чтобы прибить 256 дранок с зазором в четыре дюйма, каково население города Канкаки, штат Иллинойс, в чем суть теории Спинозы, как зовут младшего лакея в доме мистера Г. Маккея Тумли, какова длина туннеля сквозь гору Хусак, когда лучше всего сажать курицу на яйца, какое жалованье получает почтовый курьер на железной дороге, участок Дрифтвуд — Ред-Банк-Фернес, штат Пенсильвания, и сколько насчитывается когтей в передней лапе кошки.

Столь нешуточное бремя познаний не отягощало Дебстера. Факты и цифры были для него словно бы веточки петрушки, приправа к легкой беседе, коей он потчевал вас, если усматривал, что это вам по вкусу. Кроме того, он пользовался ими как бруствером при фуражировке — за столом в пансионе. Обстреливая вас очередями цифр, связанных с тем, сколько весит один фунт пруткового железа сечением пять дюймов на два и три четверти и сколько в среднем выпадает ежегодно осадков в Форт-Снеллинге, штат Миннесота, он пронзал вилкой самый лакомый кусок курицы на блюде, пока вы только набирались духу спросить у него, отчего куры не клюют денег.

Оснащенный столь ослепительными доспехами, да и наружностью не обиженный, если вам нравится та брильянтиновая разновидность, какую в три часа дня встретишь на каждом шагу возле магазинов, он являл собою соперника, с которым Джо, содержателю микролавки, стоило бы, по-видимому, скрестить оружие. Однако Джо не носил при себе оружия. А если б и носил, то все равно скрестить его было бы негде.

Как-то в субботу, часа в четыре, Дэзи с мистером Дебстером остановились у палатки Джо. На Дебстере был цилиндр и потому... ну, словом, Дэзи была женщина и не могла допустить, чтобы этот цилиндр вновь очутился в картонке, пока его не увидит Джо. Формальным же предлогом их визита была пачка ананасной жевательной резинки, каковую Джо и подал в распахнутые настезь двери лавочки. При виде цилиндра он не дрогнул, не переменялся в лице.

— Мистер Дебстер пригласил меня подняться с ним сюда наверх для обозрения панорамы, — сказала Дэзи, когда познакомила своих обожателей. — Я никогда еще не была на крыше небоскреба. Наверное, там жутко здорово и интересно.

— Хм! — сказал Джо.

— Ландшафт, который открывается нашему взору с крыши высокого здания, — сказал Дебстер, — не только грандиозен, но и поучителен. Мисс Дэзи может быть уверена, что ее ждет большое удовольствие.

— Там, между прочим, тоже ветрено, — сказал Джо. — Ты хорошо оделась, Дэз?

— Будьте покойны! Напялила сто одежек, — сказала Дэзи, со смущением и радостью отметив, как омрачилось его чело. — А ты тут, Джо, прямо как мумия в футляре. Уж не пополнились ли, чего доброго, твои запасы на фунт орехов или одно яблоко? По-моему, ты вконец затоварился.

Дэзи прыснула, наслаждаясь излюбленной шуткой, и Джо ничего не оставалось, как только улыбнуться тоже.

— В сравнении с масштабами этого дома, мистер, э... м-да, — заметил Дебстер, — ваше заведение, как мне представляется, несколько ограничено в размерах. Площадь бокового фасада здесь, если не ошибаюсь, приблизительно триста сорок футов на сто. Ваш магазин выпядит, соответственно, как если бы на территорию Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор — прибавив сюда же провинцию Онтарио и, скажем, такую страну, как Бельгия, — поместить половину Белуджистана.

— Нет, ей-богу? — простодушно сказал Джо. — Ну вы, приятель, по части цифр — прямо голова. А не скажете, сколько прессованного сена в квадратных фунтах сжует осел, если на целую минуту и пять восьмых перестанет орать «и-а, и-а»?

Через несколько минут Дэзи и мистер Дебстер уже выходили из лифта на верхнем этаже небоскреба. Потом крутая лесенка — и крыша. Дебстер подвел Дэзи к парапету и показал ей, как копошатся внизу на улицах черненькие точки.

— Что это такое? — дрожа, спросила она. Ей никогда не приходилось подниматься на такую высоту.

Как же тут было Дебстеру не войти в роль философа на башне и не увлечь ее душу за собою навстречу беспредельному пространству!

— Двуногие, — торжественно сказал он. — Заметьте, во что они превращаются, если подняться над ними хотя бы на триста сорок футов — существе насекомые, ползают туда-сюда, а что толку?

— Да ничего подобного! — вдруг воскликнула Дэзи. — Это же люди! А вон автомобиль. Ой, значит, мы так высоко поднялись?

— Подойдите сюда, прошу вас, — сказал Дебстер.

Он показал ей огромный город, раскинувший далеко внизу стройные шеренги игрушечных домов, униженные, несмотря на ранний час, первыми путеводными огоньками уличных фонарей. Потом он показал ей бухту, а за нею море, которое на юге и востоке таинственно сливалось с небом.

— Мне здесь не нравится, — объявила Дэзи, встревоженно подняв на него свои голубые глаза. — Поехали вниз, а?

Но философ отнюдь не собирался упускать такой случай. Пусть сначала она узрит, сколь возвышен полет его мысли, на какой он короткой ноге с бесконечностью, как обильно уснащена его память статистикой. И тогда ее уже не прельстит более возможность наведываться за жевательной резинкой в самую маленькую лавочку Нью-Йорка. И мистер Дебстер принялся разглагольствовать о мизерности и тщете людских забот, о том, что, вознесясь над землей даже на столь ничтожное расстояние, сознаешь, что человеку и делам его цена не больше, чем десяток медных, трижды пересчитанных грошей. И потому нам надлежит сделать предметом наших помыслов звездные миры и выкладки Эпиктета, и в том черпать для себя утешение.

— Лично меня это как-то не манит, — сказала Дэзи. — Помоему, если хотите знать, просто ужас, когда ты так высоко, а люди под тобой словно блохи. А вдруг это мы Джо там видели внизу. Надо же, как будто смотришь из соседнего штата. Да мне тут просто страшно!

Философ глуповато улыбнулся.

— Среди пространства, — говорил он, — сама земля — всего лишь зернышко пшеницы. Взгляните, пожалуйста, наверх.

Дэзи с опаской покосилась на небо. Короткий день угас, и уже высыпали первые звезды.

— Вон там, — говорил Дебстер, — вы видите Венеру, вечернюю звезду. Она отстоит от Солнца на шестьдесят шесть миллионов миль.

— Вот уж это враки! — сказала Дэзи, и от возмущения у нее на минуту прошел страх. — Что я, по-вашему, из Бруклина, что ли?

Сьюзи Прайс из нашей кондитерской ездила в Сан-Франциско к брату, он ей присылал на билет. Так туда и то всего три тысячи миль.

Теперь философ улыбнулся снисходительно.

— Наша Земля, — сказал он, — находится на расстоянии девяноста одного миллиона миль от Солнца. А существуют восемнадцать звезд первой величины, которые от Солнца в двести одиннадцать тысяч раз дальше нас. Если одна из них погаснет, ее последний луч долетит до нас только через три года. Кроме того, есть шесть тысяч звезд шестой величины. Их свет доходит до Земли уже за тридцать шесть лет. В восемнадцатифутовый телескоп мы увидим сорок три миллиона звезд и в том числе — звезды тринадцатой величины, свет которых достигает Земли за две тысячи семьсот лет. Каждая такая звезда...

— Неправда! — сердито вскричала Дэзи. — Вы нарочно меня пугаете. Вы и так меня уже напугали, я хочу вниз!

Она топнула ногой.

— Арктур... — начал было философ примирительно, но тут, прервав его на полуслове, ему из глубины своей безмерности предъявила наглядный аргумент та самая Природа, которую он тщился описать, напрягая память, но позабыв про сердце. Ибо тому, кто толкует Природу сердцем, известно, что звезды укреплены на небесном своде с одной целью — лить ласковый свет на влюбленных, блаженно блуждающих под ними, и если в сентябрьскую ночь вы, рука об руку с милой, встанете на цыпочки, окажется, что до них не так уж трудно дотянуться. Чтобы их свет летел к нам целых три года? Чуть какая!

Откуда-то с запада вынырнул метеор, и на крыше небоскреба сделалось вдруг светло как днем. Метеор пронесся по небу, прочертив с запада на восток огненную параболу. Он шипел на лету, и Дэзи взвизгнула.

— Везите меня вниз, ходячая вы арифметика! — крикнула она отчаянно.

Дебстер помог ей сойти с лесенки, они вошли в лифт. Глаза у Дэзи были безумные, и когда, мгновенно вызвав у пассажиров слабость в коленках, лифт-экспресс ухнул вниз, она передернулась.

За вращающейся дверью небоскреба философ ее потерял. Она исчезла, а он озадаченно топтался на месте, и ни факты, ни цифры не

поспешили ему на выручку.

У Джо наступило затишье в торговле, и он, извиваясь змеей, пробрался между ящиками с товаром, зажег папиросу и приладил одну озябшую ногу к чахлой печурке.

Дверь лавочки распахнулась, и Дэзи, смеясь и плача, спотыкаясь, рассыпая по полу фрукты и конфеты, кинулась к нему на грудь.

— Ну вот, Джо, я побывала на небоскребе! Ой, до чего тут у тебя тепло, уютно, хорошо! Я согласна за тебя выйти, Джо, когда захочешь.

Багдадская птица

Перевод В. Азова.

Без всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна аль-Рашида осенил маркграфа Августа-Михаила фон Паульсена Квигга.

Ресторан Квигга находится на Четвертой авеню — на улице, которую город как будто позабыл в своем росте. Четвертая авеню, рожденная и воспитанная в Бауэри, смело устремляется на север, полная благих намерений.

Там, где она пересекает Четырнадцатую улицу, она с важностью величается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешевых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорожденному брату бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудому кузену на востоке. Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут ее в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы — здания, широкие, как крепости, высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная Четвертая авеню впадает в одиночество Средневековья. С каждой стороны ее обступают лавки, посвященные «антикам».

Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах торопливым автомобилям. Панцири и шлемы, мушкеты кромвелевских времен, нагрудники, кремневые ружья, мечи и кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном, нездешнем свете. Время от времени из ярко освещенного углового бара выходит гражданин, возбужденный возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, ошетилившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных реликвий и попираемая этими призрачными пьянчужками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого «тра-ля-ля»?...

Четвертая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска Литл-Риальто, даже после оплушительных барабанов Юнион-сквера. Нечего тут проливать слезы, леди и джентльмены: это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом Четвертая авеню ныряет головою вниз в туннель у пересечения с Тридцать четвертой — и больше уже никто ее не видел...

Скромный ресторан Квигга стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улицы. Он стоит там и посейчас, и если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом, его витриной, набитой апельсинами, томатами, кексами, спаржей в банках, его омаром из папье-маше и двумя живыми мальтийскими кошечками, спящими на пучке латука; если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытым скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, — посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, которой нас награждает проклятый шарлатан, выдающий себя за нашего милого старого господина и друга «индийского дворянина», — идите к Квиггу.

Титул свой Квигг получил через мать. Одна из ее прабабок была маркграфиней саксонской. Его отец был молодцом из тамманийской шайки. Квигг учел раздвоение своей наследственности и понял, что никогда не сможет стать ни владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днем он был Квигг-ресторатор. Ночью он был маркграф, калиф, цыганский барон. И ночью он бродил по городу в чаянии странного, таинственного, необъяснимого, темного.

Однажды вечером, в девять часов, когда ресторан закрылся, Квигг выступил в свой ночной поход. Когда он наглухо застегивал свое пальто, он являл с своей коротко подстриженной, темной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад, по направлению к центральным и оживленным артериям города. В кармане у него был целый ассортимент

надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждая из этих карточек представляла собою чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи на то или другое отдельное блюдо из меню. Некоторые — их было немного — являлись талонами на пансион в течение целой недели.

Богатством и могуществом маркиграф Квигг не обладал, но у него было сердце калифа: быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем квигово бычачье рагу между рыбаками и одноглазыми коробейниками Манхеттена.

Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Квигг увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека, в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно достававшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным ревом толпы, сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись.

Маркиграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону ненормального найдет себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку.

— Идите сейчас же со мной, — сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи.

— Испекся, — сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. — Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо. Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица?...

Все еще глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый, молодой человек дал себя увести. Квигг привел его в маленький сквер и усадил на скамейке.

Осененный уголком плаща великого калифа, Квигг заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда

стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное расточение его добра и имущества.

— Я изображал Монте-Кристо, правда? — спросил молодой человек.

— Вы швыряли на мостовую мелочь, — сказал калиф, — чтобы толпа ползала за ней на коленях.

— Вот именно. Сначала пьешь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят... Прокляты они будь — цыплята, куры, перья, вертела, яйца и все, что к ним относится.

— Молодой человек, — сказал маркиграф мягко, но с достоинством. — Я не говорю вам: будьте со мной откровенны, я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей. Человек — предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно ученому, как на насекомое, или, подобно филантропу, — как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергает моего брата, человека, жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя, калифа Гаруна аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в развалинах дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, развертываются в человеческом сердце, вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мота. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снедающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю: я приглашаю вас к откровенности. Я не лишен некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне?

— А вы здорово говорите, — воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. — Вы прямо свели всю Асторовскую библиотеку в

содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал и «Арабские ночи», когда я был ребенком. Слушайте: вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта? Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится.

— Я хотел бы выслушать вашу историю, — сказал маркграф со своей важной, серьезной улыбкой.

— Я расскажу вам ее в девяти словах, — сказал молодой человек с глубоким вздохом. — Но я не думаю, чтоб вы хоть сколько-нибудь могли помочь мне. Разве только, что вы можете слетать за разгадкой, на вашем волшебном линолеуме, на Босфор.

С праздником!

Перевод под ред. В. Азова.

Невозможно больше писать рождественские рассказы. Фантазия вся исчерпана, а газетная хроника фабрикуется ловкими молодыми журналистами, рано женившимися и обладающими симпатичным пессимистическим взглядом на жизнь. Мы, таким образом, ограничены в наших сезонных заготовках двумя чрезвычайно сомнительными источниками — фактами и философией. Начнем с... называйте это как вам угодно.

Дети — вредные маленькие животные, с которыми нам приходится ладить при самых разнообразных условиях. В особенности, когда их постигает какое-нибудь горе, мы совершенно теряем голову. Мы исчерпываем наш скудный запас утешений и затем прогоняем их, плачущих, спать. После этого мы копаемся в пыли миллионов лет и спрашиваем у Бога почему? Детей понимают только старые девы, горбуны и овчарки.

А теперь обратимся к обстоятельствам дела о лоскутной кукле, оборванце и двадцать пятом декабря.

Десятого числа этого месяца ребенок миллионера потерял свою лоскутную куклу. Во дворце миллионера на Гудзоне было много слуг; они обыскали весь дом и парк, но потерянного сокровища не нашли. Девочке было пять лет; это был один из тех упрямых зверенышей, которые оскорбляют чувства богатых родителей, сосредоточив свою привязанность на какой-нибудь вульгарной дешевой игрушке.

Ребенок огорчился глубоко и искренно; это необычайно удивляло миллионера, для которого лоскутно-кукольный рынок был не более интересен, чем акции какой-нибудь третьестепенной газовой компании; удивлялась также и леди, мать ребенка, которая стояла всецело за этикет, то есть почти всецело, как мы увидим ниже.

Ребенок плакал безутешно; глазки его впали, коленки дрожали, ножки тряслись, и весь он развинтился до последней степени. Миллионер улыбался и с доверием похлопывал по своему бумажнику. Отборнейшие игрушки со складов французских и немецких

игрушечных фабрикантов были переброшены экстренно в особняк; но Рейчел была неутешна. Она плакала по своему погибшем тряпичном ребенке и стояла за запретительные пошлины на всякую иноземную ерунду. Затем были приглашены врачи с наилучшими возлекроватными манерами и хронометрами. Один за другим они бесплодно что-то бормотали про пептоновое марганцево-кислородное железо, морской воздух и гипофосфат, пока их замечательные хронометры не напоминали им, что мистер Гонорар ждет ответа. В конце концов они, как простые смертные, советовали разыскать как можно скорее куклу и возратить ее оплакивающей ее родительнице. Ребенок фыркал на всю эту терапевтику, сосал палец и вопил по своей Бетси. Тем временем не переставали поступать телеграммы от рождественского Деда, в которых дед извещал, что он скоро прибудет, и увещевал всех обнаружить истинный христианский дух, оставив на время игорные дома и политику, чтобы встретить его с подобающей честью. Дух Рождества носился в воздухе. Банки отклоняли учет, ломбарды удвоили штат служащих, на улице разносчики набивали вам шишки на лбу, суя вам под нос красные игрушечные санки. В окнах магазинов были выставлены гирлянды из омелы; у кого имелись шубы, те надевали их. Одним словом, время было самое неподходящее для потери тряпичной куклы — радости своего сердца.

Если бы любознательный друг доктора Ватсона был приглашен для раскрытия этого таинственного исчезновения, он, может быть, обратил бы внимание на известную картину «Вампир» на стене миллионерского особняка. По индукции это быстро привело бы его к следующему заключению: «Тряпка, кость и клочок волос». Флип, шотландский терьер, ближайшее после куклы существо к сердцу девочки, стрельнул через комнату. Клок волос! Ага! Х, — неизвестная величина, — означает тряпичную куклу. Но кость! Эврика! Когда собаки находят кость, они ее... Готово! Ничего не было бы легче, как освидетельствовать передние лапы Флипа. «Смотрите, Ватсон! Земля, сухая земля между пальцами! Ясное дело: собака...» Но там не было Шерлока, и это дело, таким образом, отпадает. Требуется интервенция топографии и архитектуры.

Дворец миллионера занимал обширное пространство. Перед фасадом была лужайка, подстриженная так коротко, что она напоминала щеки ирландца через два дня после бритья. По одной

стороне ее, фасадом на другую улицу, были расположены службы и находились гаражи и конюшни. Шотландский терьер похитил куклу из детской, потащил ее на лужайку, вырыл яму в уголке и закопал ее там по способу недобросовестных гробовщиков. Тайна, значит, раскрыта и не надо писать чек мифическому чудодею и совать пятерку полицейскому сержанту. Спустимся теперь, усталый читатель, поближе к центру всей этой истории — к рождественской ее сердцевине.

Фези был пьян, — не буйно, не беспомощно и не болтливо пьян, как можем быть пьяны вы или я, но прилично, соответственно и безобидно, как и подобает джентльмену, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах.

Фези был рыцарем неудачи. Шоссе, стог сена, скамейка в парке, кухонная дверь, горечь благотворительной койки с приспособлением для душа, мелкие находки и унижительные щедроты большого города — таковы последовательные главы его истории.

Фези шел по направлению к реке по улице, прилегавшей к службам миллионерского особняка. Он увидел ногу Бетси, пропавшей лоскутной куклы, высунувшуюся из своей преждевременной могилы, в углу ограды, как ключ к тайне какого-то лилипутского убийства. Вытянув несчастную Бетси и сунув ее под мышку, он пошел своей дорогой, напевая песенку, содержание которой ни одна кукла, воспитанная для приличной жизни под кровлей, не должна была бы слышать. Хорошо, что у Бетси не было ушей, и хорошо, что у ней не было глаз, кроме слепых черных кружков; потому что физиономии Фези и шотландского терьера были схожи, как лица двух родных братьев, и ни одна лоскутная кукла не выдержала бы вторичного плена у таких страшных чудовищ.

Надо вам знать, что салун Грогана находится близ реки, в конце улицы, по которой шел Фези. У Грогана рождественское веселье было уже в полном разгаре.

Фези вошел туда с своей куклой. У него явился план — выступить в качестве мима на этих сатурналиях. Авось и ему перепадет несколько капель из чаши веселья.

Посадив Бетси на стойку, он обратился к ней с громкой и веселой речью, уснащая свою речь комплиментами и нежностями, как кавалер, занимающий свою зазнобу. Пьяницы оценили шутку и

гоготали. Бармен налил Фези стаканчик. Что же? Многие из нас извлекают тоже, что могут, из лоскутных кукол.

— А для барышни? — нахально воскликнул Фези и опустил за галстук повторное воздаяние искусству.

Он начал видеть в Бетси кое-какие возможности. Премьера прошла с несомненным успехом. Ему начало уже мерещиться турне по городским кабакам.

В группе у печки сидели «Голубь» Мак-Карти, Черный Рейли и «Одноухий» Майк, пользовавшиеся большой и очень скверной репутацией в хулиганском районе, черневшем на левом берегу реки. Истрепанный газетный лист ходил у них по рукам. Каждый из них тыкал своим заскорузлым пальцем в одно место. Это было объявление, озаглавленное: «Сто долларов вознаграждения». Чтобы заработать эту сумму, требовалось возратить пропавшую, заблудившуюся или украденную из дома миллионера лоскутную куклу.

Очевидно, тоска продолжала еще неослабно грызть душу любвеобильного ребенка. Флип, терьер, тщетно кувырчался перед ним и тряс своей смешной лохматой мордой. Девочка оплакивала свою Бетси прямо в лицо расхаживающим, болтающим, говорящим «мама» и закрывающим глаза французским куклам. Объявление было последней попыткой.

Черный Рейли вышел из-за печки и подошел своей обычной односторонней параболической походкой к Фези.

Рождественский лицедей, окрыленный успехом, засунул было уже Бетси под мышку и собирался отправиться собирать плоды своих импровизаций в другой салун.

— Эй, стрелок, — обратился к нему Рейли. — Где ты откопал эту куклу?

— Эту куклу? — переспросил Фези, дотронувшись до Бетси, чтобы убедиться, что речь идет именно о ней. — Эта кукла была презентована мне белуджистанским императором. У меня имеется еще семьсот других в моем загородном особняке, в Ньюпорте...

— Брось балаганить, — сказал Рейли. — Ты или свистнул ее, или подобрал ее там, в особняке, на горке... впрочем, это неважно. Хочешь получить полдоллара за эту тряпку? Чего думаешь-то? У

моего брата девчурка дома. Куплю ей на праздник, пускай забавляется. Ну?

Он предъявил монету.

Фези засмеялся ему в лицо хриплым наглым алкогольным смехом. Подите к антрепренёру Сары Бернар и предложите ему освободить ее от вечернего представления для участия в семейном художественном вечере школьного литературного кружка. Вы услышите тогда дубликат этого смеха.

Черный Рейли быстро оценил Фези одним взглядом своих черничных глаз, как профессиональный борец своего противника. У него зачесались руки от желания сыграть римлянина и исторгнуть лоскутную сабинянку из объятий импровизированного балагура. Но он сдержался. Фези был жирен, крепко сбит и большого роста. Три дюйма хорошо упитанного тела, защищенного от зимних ветров грязным бельем, служили интервалом между его жилетом и брюками. Бесчисленные мелкие круглые морщинки на руках и коленях гарантировали качество его мускулов. Его маленькие синие глазки смотрели кротко, но без смущения. Он был волосат, пьяноват, физически грозен. Так что Черный Рейли медлил.

— Что возьмешь за нее, говори? — спросил он.

— Не продажная, — сухо и твердо ответил Фези. Он был опьянен первой сладкой чашей артистического успеха. Посадить на стойку вылинявшую, запачканную в земле лоскутную куклу изобразить с нею мимическую сцену и почувствовать, как сердце бьется от заслуженных аплодисментов, а плотку обжигает даровыми возлияниями — может ли презренный металл заменить столь святыя ощущения? Согласитесь, что Фези обладал темпераментом.

Он вышел походкой ученого моржа на соискание дальнейших кабацких триумфов.

Хотя сумерки еще не сгустились, огни начали уже выскакивать там и сям по городу, как маисовые зерна, лопающиеся в кастрюле. Канун Рождества, ожидаемый с нетерпением, выплядывал уже красными глазами из-под часовой стрелки. Миллионы готовились встретить его. Город решили превратить в сплошной карнавал. Вы сами уже слышали трубные звуки и обходили через несколько улиц кругом, чтобы не столкнуться с жрецами сатурналий.

Голубь Мак-Керти, Черный Рейли и Одноухий Майк устроили быстрое совещание на улице против грогановского салуна. Они были все трое узкогрудые, бледные юноши, не бойцы в открытую, но по своим боевым приемам они были опаснее страшнейшего из турок. В правильном бою Фези съел бы всех троих без соли, но в свалке, в так называемой борьбе «кто во что горазд», он, разумеется, был обречен.

Они нагнали его как раз в тот момент, когда он и Бетси входили в казино Костигана. Остановив его, они сунули ему под нос газету.

— Ребята, — сказал он, — вы, я вижу, действительно дьявольски хорошие друзья. Дайте мне неделю на размышление.

Душа настоящего артиста всегда взмывает кверху в затруднительном положении.

Ребята осторожно указали ему на то, что объявления вообще бездушны и что синица в руках лучше журавля в небе.

— Сотняга чистоганом, — задумчиво произнес Фези. — Ребята, — продолжал он, — вы верные друзья. Я пойду и потребую вознаграждение. Театральные дела теперь действительно не того.

Ночь надвигалась более быстрым темпом. Тройка тащилась по его пятам и сопровождала его до начала подъема, на котором стоял особняк миллионера. Фези сердито обернулся к ним.

— Вы, свора беломордых вонючих щенков! — зарычал он. — Пошли вон!

Они отошли. Немного.

У Голубя Мак-Карти лежал в кармане кусок газовой трубы толщиной в дюйм и длиной в восемь дюймов. Один конец ее был плотно залит свинцом. Черный Рейли, как уважающий себя хулиган, имел при себе тяжелый металлический шар, прикрепленный к короткому ремню. Одноухий Майк всецело полагался на пару железных кулаков — наследственное достояние в его роде.

— Зачем нам самим трудиться, подниматься в гору, — сказал Черный Рейли, — когда мы можем послать другого? Пусть он вынесет нам деньги сюда.

— Хорошо бы бросить его в воду с камнем, привязанным к ногам, — предложил Голубь Мак-Карти.

— Вы, арапы, чушь городите, уши вянут, — грустно сказал Одноухий Майк. — Видно, прогресс еще не коснулся вас. Брызнуть ему в глаза газолину и положить посреди дороги. Плохо, что ли?

Фези вошел в парадный двор дома миллионера и зигзагами направился к мягко сиявшему входу в особняк. Три гнома подошли к воротам и остановились — двое по обе стороны ворот и один против ворот на дороге. Каждый из них потихоньку ощупывал свое оружие.

Глуловато и мечтательно улыбаясь, Фези позвонил. Повинуясь атавистическому инстинкту, левая его рука потянулась было к пуговке на перчатке правой руки. Но он не носил перчаток, и левая рука смущенно опустилась.

Особенный наемник, чья специальная обязанность заключалась в открывании дверей перед шелками и кружевами, испугался при первом взгляде на Фези. Но следующий его взгляд увидел под мышкой у Фези паспорт, входную карточку, мандат на радушный прием: пропавшую лоскутную куклу хозяйской дочери.

Фези был впущен в просторную прихожую, тускло освещенную скрытыми лампами. Наймит ушел и вернулся с горничной и ребенком. Кукла была возвращена по принадлежности. Девочка прижала к сердцу свою пропавшую любимицу и вслед за тем с невоздержанным и откровенным детским эгоизмом стукнула ножкой и выразила ненависть и страх по адресу отвратительного субъекта, исторгнувшего ее из омута скорби и отчаяния. Фези распустил свою физиономию в идиотскую улыбку и тошнотворно засюсюкал тоном, который считается обольстительным для распускающегося детского интеллекта. Девочка заплакала и была уведена с Бетси, крепко прижатой к ее груди.

Тогда на сцену явился секретарь, бледный, важный, полированный, в скользких башмаках, боготворящий помпу и церемонность. Он отсчитал в руку Фези десять бумажек по десять долларов, бросил взгляд на дверь, перебросил его потом на Джемса, ее хранителя, скользнул им по невзрачному акцептанту и разрешил своим башмакам отнести его назад, в его секретарские пределы.

Джемс направил свой собственный повелительный взгляд сначала на Фези, а потом на входную дверь. Когда деньги коснулись грязной ладони Фези, его первым импульсом было задать стрекача; но второй импульс удержал его от такого нарушения этикета. Деньги принадлежали ему, они были ему даны. Какой рай они открывали его мысленному взору! Он скатился к самому подножью житейской лестницы; он был голодный, бесприютный, одинокий, оборванный,

озябший бродяга; а в руке его лежал ключ к грязному раю, по которому он тосковал. Сказочная кукла взмахнула волшебным жезлом, который она держала в своей набитой тряпками руке. Теперь, куда бы он ни направился, чудесные храмы с полированными медными опорами для ног и магическими красными жидкостями в блестящем хрустале будут открыты для него.

Он последовал за Джемсом к двери.

Но когда ливрейный наемник распахнул перед ним тяжелую дверь красного дерева, ведущую в вестибюль, он остановился.

За узорной железной решеткой, на темной улице, как бы случайно, прогуливались Черный Рейли и его два товарища, ощупывая под платьем орудия, гарантировавшие переход вознаграждения за найденную лоскутную куклу к ним.

Фези остановился у дверей и собрался с мыслями. Как маленькие побеги омелы на мертвом дереве, какие-то зеленые живые образы и воспоминания зашевелились в его ходуном ходившей голове. Он был пьян, и настоящее начинало бледнеть перед ним. Эти зеленые венки и гирлянды с красными бусинками ягод, так смягчавшие суровость этого большого вестибюля, где он видел их раньше? Когда-то и он знал полированные полы и запах свежих цветов зимою, и кто-то пел песнь где-то в глубине дома, и ему казалось, что и эту песнь он когда-то слышал. Кто-то пел и играл на арфе. Конечно! Рождество!

И он ушел от настоящего, и из какого-то невозможного, исчезнувшего, невозвратимого прошлого вернулось к нему маленькое, чистое, белое, прозрачное, забытое видение — дух *noblesse oblige*.

Джемс открыл наружную дверь. Луч света упал на укатанную дорожку к воротам. Черный Рейли, Мак-Карти и Одноухий Майк как бы невзначай перебросили свой зловещий кордон поближе к калитке.

С жестом, более величественным, чем когда-либо употребил или мог употребить сам повелитель Джемса, Фези заставил этого наемника закрыть дверь. Некоторые обстоятельства обязывают джентльмена в Рождество.

— Ты не знаешь порядков, — сказал он взволнованному Джемсу. — Когда джентльмен приходит в дом в канун Рождества, он должен поздравить с праздником хозяйку дома. Понял?

Произошел спор. Джемс проиграл. Фези возвысил голос, и он прогремел неприятным эхом внутри дома. Я не сказал, что он был

джентльменом. Он был просто бродягой, которого навестило привидение.

Зазвенел серебряный колокольчик. Джемс побежал на звонок, оставив Фези в холле. Джемс где-то кому-то что-то объяснял.

Затем он пришел и провел Фези в библиотеку.

Через минуту вошла хозяйка дома. Она была красивее и святее, чем на любой из картин, которые Фези когда-либо видел. Она улыбнулась и сказала что-то про куклу. Фези не понял ее: он ничего не помнил про куклу.

Лакей внес два маленьких бокала с пенящимся вином на чеканном серебряном подносе. Леди взяла один бокал, другой был подан Фези.

Когда пальцы его сомкнулись вокруг стройной ножки бокала, его немощь покинула его на одно мгновение. Он выпрямился, и время, столь мало предупредительное к большинству из нас, обратилось вспять, чтобы поддержать Фези.

Забытые рождественские видения, белее фальшивых бород самых дорогих дедушек-морозов кружились перед ним в парах гроганского виски. Что было общего между особняком миллионера и длинным залом в Вирджинии, где мужчины сгруппировались вокруг серебряной чаши с пуншем, провозглашая переходящий из рода в род тост старого дома? И какое отношение имеет стук копыт извозчичьих лошадей по мерзлой мостовой к ржанью оседланных охотничьих лошадей, нетерпеливо перебирающих ногами под сенью веранды? И что было общего у Фези со всем этим?

Леди взглянула на Фези поверх своего бокала, и снисходительная улыбка на ее лице померкла, как ложная заря. Ее глаза приняли серьезное выражение. Под лохмотьями и бородой шотландского терьера она заметила что-то другое, непонятное ей. Но в общем это не имело для нее особого значения.

Фези поднял стакан и неопределенно улыбнулся.

— Пр-ростите, мэдем, — произнес он, — но я не мог покинуть дом, не поздравив хозяйку с праздником. Было бы против принципов джентльмена...

И он затянул старинное поздравление, которое было традиционным в доме в ту пору, когда мужчины носили на манжетах кружева и пудрили себе лица.

— Благоденствие...

Память изменила Фези. Леди подсказала:

— Да снизойдет на сей очаг...

— Гостя... — заикнулся Фези...

— И на нее, которая... — продолжала леди с одобряющей улыбкой.

— Э, да ну его! — грубо оборвал Фези. — Ни черта не помню!

— Ваше здоровье!

Фези расстрелял свои патроны. Они выпили. Леди опять улыбнулась — улыбкой своей касты. Джемс обнял Фези и проводил его до дверей. Звуки арфы все еще мягко проносились по дому.

Снаружи Черный Рейли дул себе в озябшие руки и жался к калитке.

— Хотела бы я знать, — задумчиво сказала леди... — Хотела бы я знать: воспоминания — проклятие или благодать для тех, кто так низко пал?

Фези и его провожатый приближались к двери.

Леди позвала:

— Джемс!

Джемс рабски бросился обратно, оставив Фези в нерешительном ожидании. Мимолетная вспышка божественного пламени уже выдохлась в нем.

Снаружи Черный Рейли топал окоченевшими ногами и крепче сжимал свою газовую, налитую свинцом трубку.

— Проводите этого джентльмена вниз, — приказала леди, — и скажите Луи, чтобы он вывел «мерседес» и отвез этого джентльмена, куда он укажет.

Новая сказка из «Тысячи и одной ночи»

Перевод О. Холмской.

Великий город Багдад-над-Подземкой переполнен калифами. В его дворцах, на его базарах, в чайханах и в переулках толпами скитаются аль-Рашиды во всех обличьях, ищущие развлечения и жертв для своей необузданной щедрости. Вряд ли найдется в Новом Багдаде хоть один смиренный нищий, которому они позволили бы без участия с их стороны наслаждаться своей дневной добычей, или хоть один горемычный банкрот, которого они не пожелали бы снабдить средствами для новых злоключений. Вряд ли найдется в Багдаде хоть один голодающий, которому не случилось потуже затягивать пояс в сооруженных на их пожертвования публичных библиотеках, или хоть один скромный служитель науки, которого они не вгоняли бы в краску, сваливая в праздники на его порог корзину с увенчанной сельдереем индейкой под восторженные клики газет, всегда готовых прославлять калифское великодушие.

И по кишащим Гарунами улицам с великой опаской прокрадываются Одноглазый Дервиш, Маленький Горбун и Шестой Брат Цирюльника, тщетно стараясь ускользнуть от пиратствующей орды попечительных султанов.

Можно без скуки провести не одну ночь, слушая изумительные повествования о тех, кому удалось уклониться от благодеяний, расточаемых армией повелителей правоверных. До утра можно сидеть на волшебном коврике и внимать рассказам о могучем Джинне Рок-Эф-Эль-Эре, который подослал сорок разбойников выкачать нефтяной фонтан Али-Бабы; о добром калифе Кар-Нег-Ги, который раздавал дворцы направо и налево; о Синдбаде Гореплавателе и его Семи Путешествиях среди островов на деревянных пароходах для воскресных экскурсий; о Рыбаке и Бутылке; о пирах за табльдотом Владетеля дешевых мебелированных комнат Бармекида, где пирующие таинственным образом никогда не насыщались, и о том, как Аладдин достиг богатства при помощи своего чудесного Газового Счетчика.

Но так как теперь имеется десять султанов на одну Шехерезаду, ей уже нет нужды бояться рокового шурка. В результате искусство рассказа приходит в упадок. И чем усерднее калифы низшего ранга занимаются травлей беззаботных бедняков и смирившихся со своей участью несчастливцев, стремясь выгнать их из-под укрытия и обрушить на их головы свои причудливые щедроты и фантастические милости, тем чаще приходят из арабских штабов известия, что пленник не пожелал «отвечать на вопросы согласно анкете».

Именно этим недостатком откровенности со стороны актеров, разыгрывающих печальную комедию нашего умученного филантропией мира, и объясняются некоторые несовершенства рассказанной ниже и с трудом, по зернышку и по колоску, собранной истории, которую мы предлагаем вам под названием -

ИСТОРИЯ КАЛИФА,

ПЫТАВШЕГОСЯ ОБЛЕГЧИТЬ

СВОЮ СОВЕСТЬ

Старый Джекоб Спраггинс подошел к дубовому буфету стоимостью в тысячу двести долларов, налил в стакан шотландского виски, добавил содовой воды и выпил.

Под влиянием этого напитка его, видимо, осенило вдохновение, ибо он хватил кулаком по дубовой панели и громогласно заявил, обращаясь к своей просторной и в настоящую минуту пустой столовой:

— Побей меня бог, все дело в этих десяти тысячах! Кабы свалить это с плеч, мне бы, может, и полегчало!

А теперь, заинтриговав вас с помощью этого простейшего приема нашего ремесла, мы затормозим действие и предложим вашему вниманию миниатюрную биографию, начавшуюся пятнадцать лет тому назад.

Когда старый Джекоб был молодым Джекобом, он работал отбойщиком в Пенсильванских угольных шахтах. Мы не знаем, что

такое отбойщик, но, по нашим наблюдениям, главное его занятие состоит в том, чтобы стоять со скорбным взором и с обеденными судками в руках возле угольной кучи, пока репортеры фотографируют его для воскресного фельетона. Так или иначе, Джекоб был отбойщиком. Но вместо того, чтобы умереть от изнурения в возрасте девяти лет и оставить своих престарелых родителей и великовозрастных братьев на попечение забастовочного комитета, он покрепче застегнул подтяжки, стал время от времени вкладывать доллар-другой в разные сторонние предприятия и к сорока пяти годам оказался обладателем капитала в двадцать миллионов долларов.

Вот и все. Признайтесь, что вы даже зевнуть не успели. А я видал биографии, которые... Но не будем отвлекаться.

Наше знакомство с Джекобом Спраггинсом, эсквайром, начинается в тот момент, когда он достиг седьмой стадии своей карьеры. Прочие стадии суть следующие: первая — скромное происхождение; вторая — заслуженное повышение; третья — акционер; четвертая — капиталист; пятая — трестовский магнат; шестая — богатый злоумышленник; седьмая — калиф; восьмая — х. Восьмая стадия относится уже к области высшей математики.

В возрасте пятидесяти пяти лет Джекоб удалился от дел. Деньги продолжали притекать в его карманы — доходы от угольных шахт, железных рудников, нефтяных промыслов, домовладений, железных дорог, заводов, корпораций, но это уже была не просто нажива, не сырой, так сказать, продукт, а стерилизованная прибыль, отмытая, прокипяченная и дезинфицированная, поступавшая к нему из наманикюренных рук его личного секретаря в виде незапятнанных, сияющих белизной чеков. За три миллиона долларов Джекоб приобрел в собственность дворец на углу Набоб-авеню в Новом Багдаде и почувствовал, что его плечи облекает порфира покойного Г. А. Рашида. Без дальних церемоний он заправил ее себе под воротник, повязал спереди в виде галстука и занял свое законное место в сонме патентованных угнетателей нашего месопотамского пролетариата.

Когда человек настолько разбогател, что из мясной лавки ему присылают именно тот сорт мяса, какой был заказан, он начинает думать о спасении своей души. Не упускайте, однако, из виду описанных выше стадий, или градаций, богатства. Если вы спросите

богача о размерах его состояния, капиталист подсчитает вам все с точностью до одного доллара. Трестовский магнат даст «приблизительную оценку». Богатый злоумышленник угостит вас сигарой и прибавит, что слухи, будто он купил «Н. И. Ч. Ж. Д.», ни на чем не основаны. Калиф только улыбнется и заведет разговор о Гаммерштейне^[33] и опереточных певичках. Говорят, что однажды в харчевне «Где бы хорошо покушать» произошла за завтраком ужасающая сцена между трестовским магнатом и его женой из-за того, что жена оценила их состояние на три миллиона долларов выше, чем ее супруг. Дело кончилось разводом. Что ж! Бывает! Я сам был свидетелем подобной же перепалки между супругами, возникшей оттого, что муж обнаружил у себя в карманах на пятьдесят центов меньше, чем ожидал. Все мы люди, все человеки — граф Толстой, Р. Фицсиммонс, Питер Пэн и прочие.

Не огорчайтесь тем, что наш рассказ как будто превращается в морально-психологический этюд для интеллигентных читателей.

Будет вам и диалог, будет и действие, потерпите только еще минуточку.

Когда Джекоб впервые начал соотносить размеры между игольным ушком и верблюдами^[34], разгуливающими в зоологическом саду, он решил вступить на путь организованной благотворительности. Он велел секретарю послать Всеобщей Благотворительной Ассоциации Земного Шара чек на один миллион долларов. Вы, возможно, с тоской заглядывали за решетку над подвальным окном какого-нибудь склада, если вам случалось уронить туда монетку достоинством в один цент. Но это к делу не относится. Ассоциация своевременно уведомила отправителя о получении его письма от 24-го числа сего месяца со вложением ценностей, согласно описи. А затем Джекоб Спраггинс прочитал в вечерней газете отделенное, правда, чертой от рубрики «Курьезы дня», но все же неприятно с ней соседствующее, лаконичное сообщение о том, что некто «Джаспер Спрагиус пожертвовал один миллион долларов в пользу ВБАЗШ». Говорят, что у верблюда есть отдельный желудок для каждого дня недели; а вот есть ли у него усы, я не знаю; но если есть, то даже кончик его уса не просунулся в игольное ушко в связи с данной попыткой данного богача проникнуть в ЦН. Этот старинный концерт слишком хорошо охраняется. «Дирекция оставляет за собой

право отвести любую кандидатуру». Подписано: «Святой Петр, секретарь и по совместительству привратник».

Затем Джекоб выискал самый богатый колледж и пожертвовал ему двести тысяч долларов на оборудование научных кабинетов. В колледже не занимались точными науками, но деньги взяли и употребили на устройство научно оборудованных клозетов, в чем жертвователю не усмотрел существенной разницы.

Собрался ученый совет и постановил: просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом Быка-и-лавра — так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы, и приглашение было отослано.

Накануне того дня, когда Джекобу предстояло облечься в ученую мантию, он прогуливался по территории колледжа. Мимо, беседуя, прошли двое профессоров, и голоса их, натренированные в аудиториях, по нечаянности долетели до его слуха.

— Вот он идет, — говорил один из профессоров, — этот новейшей формации пират индустрии, вздумавший купить у нас порошков от бессонницы. Завтра он получает свой диплом.

— *In foro conscientiae*^[35], — ответил другой. — Эх, шархнуть бы его как следует! Ведь кирпича просит!

Джекоб не знал латыни, но намек на кирпичи до него дошел. И чаша с ученым напитком, купленным так дорого, оставила горечь на его устах. Эликсира забвения в ней не оказалось. Это было еще до того, как прошел закон против фальсификации пищевых и лекарственных продуктов.

Джекоб разочаровался в благотворительности широких масштабов.

— Нужно самому видеть тех, кому делаешь добро, — решил он. — Поговоришь с человеком, услышишь, как он тебя благодарит, — ну и станет легче на сердце. А жертвовать разным обществам и организациям — это все равно, что бросать монеты в испорченный автомат.

И Джекоб пошел туда, куда вел его нюх, — в самый грязный квартал, к обиталищам самых жалких бедняков.

— Как раз то, что мне нужно, — сказал он. — Зафрахтую два парохода, насажаю туда бедных детишек, погружу, скажем, десять

тысяч кукол и барабанов и тысячу морожениц и повезу малышей кататься по проливу. Пусть их ветерком обдует, авось сдует и немножко грязи с этих денег, будь они неладны, которых столько лезет ко мне в карман, что я даже не успеваю придумывать, куда их сбагрить!..

Но, вероятно, Джекоб как-нибудь проболтался о своих благотворительных планах, ибо внезапно перед ним возник здоровенный верзила с бритой физиономией и ртом такой формы и таких размеров, что взгляд невольно искал над ним надпись: «Для писем». Верзила зацепил Джекоба согнутым пальцем за талию, затиснул его в угол между будкой цирюльника и урной для мусора, растворил свой почтово-ящичный рот и выпустил вереницу слов — гладких и вежливых, словно затянутых в белые перчатки, но чувствовалось, что из-под мягкой лайки в любую минуту может выставиться костлявый кулак.

— А вы, почтеннейший, знаете ли, где вы находитесь? Нет? Ну, я вам объясню. Этот квартал состоит в ведении Майка О'Грэди, и другим сюда нечего соваться. Здесь только Майк утирает слезы сироткам, и ежели надо устроить пикник или, там, раздачу воздушных шаров, так это делается на деньги Майка, а не на чьи-нибудь посторонние. Понятно? Не садитесь за чужой стол, а не то вам поднесут закуску, которая вам не понравится. Поналезло сюда всяких устроителей, да исправителей, да социологов, да миллионеров — места вам другого нету, во что приличный квартал превратили! Профессора ваши да студенты толпами шляются, у киосков с сельтерской свалки устраивают, от автобусов с экскурсантами податься некуда — местные жители на улицу выпянуть боятся! Нет, уж вы предоставьте их лучше Майку. Они ему свои, он знает, как с ними обращаться. А вы безобразничайте в своей части города. Ну как, папаша, уразумели? Или еще хотите поспорить с Майком, кому тут разыгрывать Деда Мороза?

Ясно было, что этот участок благотворительной нивы уже застолбован. И калиф Спраггинс перестал тревожить народ на базарах Ист-Сайда. Силясь избавиться от излишков все растущего капитала, он удвоил свои жертвования благотворительным обществам, подарил Союзу христианской молодежи в своем родном городке коллекцию бабочек стоимостью в десять тысяч долларов и послал

голодающим в Китае столь солидный чек, что на него можно было бы вставить всем тамошним богам глаза из изумрудов и зубы с пломбами из брильянтов. Но ни одно из этих добрых дел не принесло покоя сердцу калифа. Он попытался внести личную нотку в свои благодеяния, давая на чай коридорным и официантам по десять и двадцать долларов, и эти быстроногие Ганимеды потешались над ним за его спиной, хотя почтительно принимали от других вознаграждение, более соразмерное своим услугам. Он отыскал бедную, но талантливую и честолубивую молодую актрису и купил ей первую роль в новой комедии. И на этот раз ему, без сомнения, удалось бы освободиться, по крайней мере, от пятидесяти тысяч обременявших его долларов, если бы он не забыл своевременно написать своей подопечной два-три компрометирующих письма. Но он этого не сделал, и судебный процесс, который затеяла против него молодая особа, провалился из-за недостатка улик. А капитал Спраггинса все рос да рос, и его фебрис игольноушкис верблюдикус — этот недуг совестливых богачей — по-прежнему не получал исцеления.

Вместе с калифом Спраггинсом в его особняке (стоимостью в три миллиона долларов) проживала его сестра Генриетта, которая некогда была стряпухой в харчевне для углекопов (обед из двух блюд за двадцать пять центов) в Коктауне, а теперь, если бы пришлось ей здороваться с Джоном Митчеллом^[36], подала бы ему всего два пальца. А еще с ним проживала его дочь Селия, девица девятнадцати лет, только что вернувшаяся из пансиона, где высококвалифицированные педагоги обучали ее ресторанным языкам и наводили на нее прочий необходимый лоск.

Селия и есть героиня нашего рассказа. Опасаясь, что фантазия художника, иллюстрирующего эти страницы, может внести в ее облик несуществующие черты, спешим представить вам ее авторизованный портрет. Селия была очень приятная собой, несколько долговязая, голосистая и вместе с тем застенчивая девушка с каштановыми волосами, бледным цветом лица, сияющими глазами и постоянной улыбкой на губах. От Джекоба Спраггинса она унаследовала любовь к простым кушаньям, свободным платьям и обществу представителей низших классов. Молодость и несокрушимое здоровье помогали ей легко переносить тяготы богатства. Рот у нее был большой и вечно

набитый мятными леденцами, стучавшими о ее зубы, как град об оконное стекло, сладкий град, высыпанный автоматом в обмен на монетку в пять центов. Добавим к этому, что Селия отлично умела насвистывать матросские танцы. Запечатлейте, пожалуйста, в своей памяти этот образ, а художник пусть себе творит, что хочет, в меру своих неспособностей.

Однажды утром Селия выглянула в окно и подарила свое сердце юному возчику из зеленой лавки. Возчик не заметил сделанного ему подарка, ибо в этот момент занят был тем, что решал в положительную сторону вопрос о бессмертии души своей лошади, суля ей участь, уготованную на том свете нераскаянным грешникам. Как прикажете иначе разговаривать с эдакой скотиной, которая не хочет стоять смиренно, пока ты достаешь из фургона ящик со свежеснесенными яйцами?

Вам, моя юная читательница, тоже понравился бы этот молодой возчик. Но вы не подарили бы ему своего сердца, потому что бережете его для учителя верховой езды, или для обувного фабриканта с больной печенью, или для того господина в сером твидовом костюме, с которым вы познакомились на пляже в Палм-Бич и о котором можно сказать, как о буфете из мореного дуба, — «скромно, но богато». Знаю я, знаю все ваши мысли! И поэтому я очень рад, что молодой возчик достанется Селии, а не вам.

Молодой человек из зеленой лавки был строен и широкоплеч и отличался такой же свободой и непринужденностью движений, как тот атлетический красавец, который на рекламном вкладыше в воскресный журнал примеряет новейшие не натирающие плеч подтяжки. Серая велосипедная кепка, сдвинутая на самый затылок, чудом держалась на его белокурых курчавых волосах, а с его загорелого лица не сходила улыбка, за исключением тех минут, когда он проповедовал ломовым лошадям доктрину вечного проклятия. С драгоценными примерами овощного царства он обращался так небрежно, как будто то была вялая морковь для дешевых столовок, а когда он брал в руки кнут, вам вспоминался мистер Таккет, демонстрирующий высший класс фехтовального искусства.

Поставщики провизии проникали в дом через задние ворота, со стороны кухни. Фургон зеленщика подъезжал ровно в десять часов утра. Три дня подряд Селия наблюдала из окна за молодым возчиком,

когда он сгружал свой товар, каждый раз находя новую прелесть в том, как он равнодушно и даже презрительно кидал наземь отборнейшие дары Помоны, Цереры и консервных заводов. Затем она поделилась своей тайной с Аннет.

Но Аннет Мак-Коркл, вторая горничная в доме Спраггинсов, заслуживает отдельного абзаца. Аннет в невероятных количествах поглощала романы и мелодрамы, которые брала в бесплатной публичной библиотеке (основанной одним из самых крупных калифов, подвизавшихся в этой отрасли коммерции). Она была верной подружкой Селии и неизменной участницей всех ее проказ, о чем тетя Генриетта, будьте покойны, ничего не знала.

— Ах вы, моя канареечка! — воскликнула Аннет. — Ах, как цинично! Ну прямо для театра! Вы, наследница миллионов, и влюбились в него с первого взгляда! Он, правда, очень милый и даже не похож на кучера. Но он совсем не такой Дон Желан, как обыкновенно бывают возчики из зеленых лавок. На меня он никогда не обращал внимания.

— А на меня обратит, — сказала Селия.

— Конечно, богатство... — начала Аннет, украдкой выпуская жало, издавна принятое на вооружение у прекрасного пола.

— Ну, ты не такая уж красавица, — прервала ее Селия, улыбаясь своей широкой, простодушной улыбкой. — Я тоже нет. Но хороша я или дурна, а влюбится он в меня, а не в мои доллары, это я тебе обещаю. Одолжи-ка мне один из твоих передников и наколку.

— Ах вы, моя кошечка! — воскликнула Аннет. — Понимаю! Ах, как прелестно! Совсем как в «Люрлине-Левше» или в «Злоключениях пуговичника». Держу пари, что он окажется графом.

Вдоль задней стены дома тянулся длинный, с одной стороны застекленный, коридор, или галерея, как более пышно именуют такие сооружения на Юге, и по этой галерее каждый день проходил молодой возчик, относя свой товар на кухню. Однажды ему по дороге попала девушка в переднике и крахмальной наколке. У девушки были блестящие глаза, бледные щеки и большой смеющийся рот. Но так как молодой зеленщик в эту минуту был нагружен одной корзиной с ранним латуком, а другой с томатами «Гигант», не считая трех пучков спаржи и шести банок с маслинами высшего качества, то он только мельком подумал, что вот, мол, наверно, одна из горничных.

Однако, когда он возвращался, девушка еще была тут, и, нагнав ее в конце коридора, молодой зеленщик услышал, что она насвистывает «Рыбачий танец», да так пронзительно и звонко, что все флейты-пикколо, доведись им ее услышать, сами собой развинтились бы от зависти и попрятались бы по своим футлярам.

Молодой зеленщик остановился и так далеко сдвинул на затылок свою кепку, что она повисла на задней запонке его воротничка.

— Вот это здорово, малютка! — воскликнул он.

— Меня зовут Селия, с вашего позволения, — отвечала свистунья, ослепляя его улыбкой шириной в три дюйма.

— Очень приятно. А меня Томас Мак-Леод. Где вы тут работаете?

— Я... я младшая горничная и убираю гостиные.

— А скажите, знакомы вам «Каскады»?

— Нет, — ответила Селия. — У нас совсем нет знакомых. Мы слишком быстро разбогатели. То есть, я хочу сказать, мистер Спраггинс разбогател.

— Ну, ничего, я вас познакомлю, — сказал Томас Мак-Леод — Это шотландский танец, двоюродный брат матросскому.

Если, слушая Селию, все флейты-пикколо признали бы себя побежденными, то искусство Томаса Мак-Леода самую большую флейту в оркестре заставило бы почувствовать себя глинной свистулькой. Когда он кончил, Селия готова была прыгнуть к нему в фургон и ехать с ним все дальше и дальше, до того последнего берега, где старый паромщик Харон держит свой бесплатный перевоз.

— Я буду здесь завтра в десять пятнадцать, — сказал Томас, — с корзиной шпината и пачкой соды для стирки.

— А я пока поупражняюсь в этих, как вы их там зовете, — ответила Селия. — Я могу свистать втору.

Ухаживание — дело сугубо личное и не подлежит опубликованию. Подробный анализ этого процесса можно найти только в рекламах пилюль против малокровия и в секретных инструкциях женского консультативного бюро Древнего Ордена Мышеловки. Но некоторые его стадии может осветить и художественная литература, не вторгаясь в область рентгеновских лучей и полиции нравов.

Настал день, когда Селия и Томас Мак-Леод задержались в конце галереи для серьезного разговора.

— Шестнадцать в неделю — это, конечно, не бог весть что, — сказал Томас, сдвигая свой картуз на самые лопатки.

Селия обратила печальный взор на застекленную стену и стала насвистывать похоронный марш. Именно эту сумму она вчера заплатила за дюжину носовых платков, совершая покупки с тетей Генриеттой.

— Но в том месяце я, может быть, получу прибавку, — продолжал Томас. — Завтра буду здесь в обычное время с мешком муки и ящиком хозяйственного мыла.

— Хорошо, — сказала Селия. — Замужняя сестра Аннет платит всего двадцать долларов в месяц за квартиру в Бронксе.

Селия в своих планах на будущее ни минуты не рассчитывала на спраггинсовские миллионы. Она хорошо знала аристократические замашки тети Генриетты и властную натуру своего коронованного долларами отца и понимала, что, если изберет Томаса, молодому возчику из зеленой лавки и его супруге будет предоставлена полная свобода свистать в кулак.

Прошло еще некоторое время — и благолепную тишину Набобавеню огласили переливы «Мечты дьявола», которую Томас искусно насвистывал сквозь зубы.

— Вчера дали прибавку, — сказал он. — Буду теперь получать восемнадцать долларов в неделю. Справлялся о цене квартир на Морнингсайд. Еще одна такая прибавка — и уже можно будет тебе снимать передник и наколку.

— Ах, Томми! — воскликнула Селия. — А может быть, и этого достаточно? Бетти обещала научить меня готовить дешевое печенье. Оно делается из крошек, собранных за неделю, и называется «Бедный Питер».

— Назови его лучше «Бедный Томас», — предложил Томас Мак-Леод.

— И я умею подметать и вытирать пыль и... и чистить медные ручки; ну да, горничная ведь должна все это уметь. А по вечерам мы могли бы насвистывать дуэты.

— Хозяин сказал, что с Рождества повысит мне плату до двадцати долларов, если Брайан не придумает для республиканцев худшего названия, чем «любители откладывать в долгий ящик».

— Я умею варить варенье из айвы, — сказала Селия. — И я знаю, что, когда приходит монтер проверять газ, нужно сперва спросить, чтобы он показал свой служебный значок. И я умею поднимать петли на чулках и шторы на окнах.

— Вот здорово! Ты, Селли, просто молодчина. Да, я тоже думаю, что мы управимся на восемнадцать в неделю.

Когда он уже садился на козлы, Селия, рискуя выдать себя, подбежала к воротам.

— Томми, Томми, — нежно позвала она, — еще я могу сама шить тебе галстуки. Я только сейчас вспомнила.

— И сейчас же забудь. — решительно потребовал Томас.

— И еще, — продолжала Селия, — мелконарезанные огурцы на ночь прогоняют тараканов.

— И сон тоже, — отвечивал мистер Мак-Леод. — Если меня сегодня пошлют в Вест-Сайд, я загляну там в один знакомый магазинчик — присмотрю кое-какую мебель.

Как раз в ту минуту, когда фургон Томаса Мак-Леода отъезжал от ворот, Джекоб Спраггинс, как уже было описано выше, ударил кулаком по буфету и произнес свою загадочную фразу о десяти тысячах долларов, чем подтверждается общее наблюдение, что некоторые истории, равно как жизнь и щенята, брошенные в колодезь, имеют тенденцию двигаться по кругу. Мы вынуждены поэтому дать здесь краткое разъяснение, проливающее свет на слова Джекоба.

Фундамент своего будущего богатства он заложил, когда ему было двадцать лет. Один бедный углекоп (слыхали вы когда-нибудь о богатом углекопе?) скопил десяток-другой долларов и приобрел небольшой участок земли на каменистом склоне. Он намеревался выращивать там кукурузу, но не вырастил и единого початка. А молодой Спраггинс нюхом чуял, где можно пожить, и нюх подсказал ему, что под этим участком проходит угольная жила. Джекоб сторговал участок у владельца за сто двадцать пять долларов, а через месяц продал его за десять тысяч. К счастью для углекопа, у него еще оставалось немного денег, так что, услышав эту новость, он мог с помощью усиленного потребления спиртных напитков обеспечить себе удобную одежду с рукавами, завязывающимися на спине.

Вот почему спустя сорок лет Джекоба вдруг осенила идея, что если бы ему удалось возместить эти десять тысяч наследникам злополучного углекопа, то, возможно, мир и покой снизошли бы в его истерзанную душу.

А теперь нам надо побыстрее развернуть действие, ибо в нашем рассказе имеется уже четыре тысячи слов, но еще ни одной пролитой слезы или вскрытого сейфа, ни одного выстрела или разбитой о чужую голову бутылки.

Джекоб нанял десяток частных сыщиков и велел им разыскать всех, какие есть в живых, наследников старого углекопа по имени Хью Мак-Леод...

Поняли теперь? Разумеется, Томас Мак-Леод окажется его наследником. Другой автор утаил бы от вас фамилию углекопа, но почему надо приберегать раскрытие тайны до самой последней страницы? Гораздо гуманнее раскрыть ее на середине рассказа, тогда, кто не хочет, может и не дочитывать его до конца.

После того как сыщики гонялись по ложным следам на протяжении трех тысяч долларов, то есть, простите, миль, они окружили, наконец, Томаса Мак-Леода в зеленой лавке и вырвали у него признание, что Хью Мак-Леод был его родным дедушкой и что других наследников не имеется. Затем в одной из своих контор они устроили ему свидание со старым Джекобом.

Джекобу молодой человек очень понравился. Ему понравилось, как Томас, разговаривая, прямо смотрел в глаза собеседнику, ему понравилось и то, как он надел свою кепку на розовую вазу, стоявшую посередине стола.

В искупительном плане старого Джекоба было одно слабое место. Он не сообразил, что для того, чтобы искупление было полным, ему придется покаяться в былых грехах. Поэтому при свидании с Томасом он выдал себя за агента, действующего от лица того человека, который некогда купил участок, а теперь желал бы для успокоения своей совести вернуть нажитое при продаже наследникам обманутого углекопа.

— Гм! — сказал Томас — Что-то получается похоже на новогоднюю открытку с надписью: «Мы тут очень весело проводим время». Но я не знаю правил этой игры. Сразу выдают тебе десять тысяч долларов, или надо еще набрать сколько-то фишек?

Джекоб поспешил отсчитать ему двадцать кредитных билетов по пятьсот долларов. Ему казалось, что так будет эффективнее, чем если он напишет чек. Томас задумчиво спрятал деньги в карман.

— Ну что ж, — сказал он, — большое спасибо от дедушки этому господину, что вас послал.

Но Джекобу не хотелось сразу его отпускать. Он стал расспрашивать, где Томас работает, как он проводит свой досуг, какие у него планы на будущее. И чем больше он узнавал о Томасе, тем больше тот ему нравился. Такого простого и честного юноши он еще не встречал среди багдадской молодежи.

— Заходите как-нибудь ко мне, — сказал он. — Я могу дать вам полезный совет — в какие бумаги вложить ваши деньги или как их лучше пустить в оборот. Я сам очень богатый человек. У меня есть почти что взрослая дочь — я хотел бы вас с ней познакомить. Заметьте, что я далеко не всякому позволил бы ее посещать.

— Очень признателен, — сказал Томас. — Но я как-то не привык делать визиты. До сих пор мои визиты были всё больше с черного хода. А кроме того, я обручен с одной девушкой, и это, знаете, такая девушка, что лучше ее и на свете нет. Она работает горничной в одном доме, куда я доставляю товар. Ну, да уж теперь недолго будет там работать. Не забудьте передать вашему приятелю сердечный привет от дедушки. А теперь извините, меня фургон дожидается, надо еще кое-куда отвезти зелень. До свиданья, сэр!

В одиннадцать часов Томас сдал несколько пучков пастернака и латука на кухню в доме Спраггинсов. Томасу было всего двадцать два года, поэтому он не отказал себе в удовольствии, уходя, вытащить из кармана пачку банкнотов, каждый достоинством в пятьсот долларов, и помахать ими перед носом Аннет. Глаза у Аннет стали круглые, как луковицы, запеченные в сметане, и она поспешила на кухню, поделиться впечатлениями с кухаркой.

— Я говорила, что он граф! — воскликнула она, окончив свой рассказ. — На меня он никогда не обращал внимания.

— Граф? — переспросила кухарка. — Да ведь ты говоришь, он деньги показывал?

— Сотни тысяч! — подтвердила Аннет. — Горстями доставал из кармана! А на меня никогда даже и взглянуть не хотел!

— Это мне сегодня заплатили, — объяснял тем временем Томас Селии, стоя с ней в конце галереи. — Наследство после дедушки. Слушай, Селли, чего нам еще ждать? Я сегодня же возьму расчет в зеленой лавке. Отчего бы нам не пожениться на будущей неделе?

— Томми, — сказала Селия. — Я не горничная. Я тебя обманывала. Я — мисс Спраггинс, Селия Спраггинс. В газетах недавно писали, что со временем я буду стоить сорок миллионов.

Томас поймал свою кепку где-то на затылке и в первый раз с тех пор, как мы его знаем, аккуратно надвинул ее на лоб.

— Так, — сказал он. — Это значит... Одним словом, как я понимаю, это значит, что мы не поженемся на будущей неделе. Но свистать вы все-таки здорово умеете.

— Нет, — сказала Селия, — мы не поженемся на будущей неделе. Папа ни за что не позволит мне выйти замуж за возчика из зеленой лавки. Но если ты хочешь, Томми, мы поженемся сегодня вечером.

В девять тридцать вечера Джекоб Спраггинс подкатил к дому в своем автомобиле. О марке автомобиля и других его качествах догадывайтесь сами; мы лишены возможности это уточнить, ибо предлагаем вам здесь чистое искусство, не запятнанное субсидиями от автомобильных компаний; вот если бы речь шла о трамвае, тогда мы могли бы со спокойной совестью описать его вольтаж, и число осей, и прочее тому подобное. Джекоб пожелал видеть дочь. Он купил ей в подарок рубиновое ожерелье и жаждал услышать из ее уст, какой он добрый, заботливый и милый папочка.

Произошла небольшая заминка, пока Селию искали по всему дому, а затем явилась Аннет, пылая чистым огнем правдолюбия и преданности, с некоторой примесью зависти и актерства.

— О сэр! — воскликнула она, мысленно примеряясь, не следует ли ей пасть на колени. — Мисс Селия только что убежала из дому через черный ход. Ее увез этот молодой человек, который хочет на ней жениться. Я не могла ее удержать. Они уехали в кебе.

— Какой еще молодой человек? — загремел Джекоб.

— Миллионер, сэр, переодетый граф! У него денег полны карманы, а красный перец и лук были только для отвода глаз. На меня он никогда не обращал внимания.

Джекоб ринулся к парадной двери и застал свой автомобиль еще у подъезда. Шофер замешкался, пытаясь на ветру закурить папиросу.

— Эй, Гастон, или Майк, или как вас там! Живо гоните вон за тот угол, а увидите кеб, остановите его!

За углом, на квартал впереди, маячил кеб. Гастон или Майк, скосив глаза на нераскуривающуюся папиросу, пустился за ним следом, догнал и аккуратно притиснул к обочине.

— Ты в своем уме? — заорал кебмен.

— Папа! — взвизгнула Селия.

— Давешний агент! — удивился Томас. — Опять, что ли, дедушкиного приятеля угрызает совесть? Интересно, теперь за что?

— Ах, чтоб тебя! Потухла!.. — сказал Гастон или Майк. — А спички все!

— Молодой человек, — строго спросил Джекоб, — а как же с этой горничной, с которой вы обручены?

Два года спустя старый Джекоб однажды утром вошел в кабинет своего личного секретаря.

— Объединенное общество миссионеров просит вас пожертвовать тридцать тысяч долларов на обращение корейцев в христианство, — сказал секретарь.

— Отказать, — ответил Джекоб.

— Пламвильский университет напоминает, что ежегодная субсидия в пятьдесят тысяч долларов, которую вы им даете, просрочена.

— Напишите, что я ее отменил.

— Вот письмо от Научного общества по исследованию моллюсков Лонг-Айленда с просьбой дать им десять тысяч долларов на спирт для препаратов.

— Бросьте его в корзину.

— Общество по организации здоровых развлечений для фабричных работниц просит десять тысяч долларов на устройство поля для гольфа.

— Пусть обратятся в похоронное бюро. Прекратить всякие пожертвования, — продолжал Джекоб. — Хватит с меня добрых дел. Теперь мне дорог каждый доллар. Напишите директорам всех компаний, которые я контролирую, и скажите, что я предлагаю им снизить заработную плату рабочим и служащим на десять процентов. Кстати, сейчас, проходя через холл, я заметил, что в углу валяется

обмылок. Скажите уборщице, что нельзя так расшвыривать добро. Я не могу сорить деньгами. Да, вот что: монополия на уксус в наших руках?

— Всеамериканская компания пряностей и приправ в настоящую минуту контролирует рынок, — ответил секретарь.

— Повысить цену на уксус на два цента за галлон. Сообщите по всем отделениям.

Внезапно красное, пухлое лицо Джекоба Спраггинса расплылось в улыбке. Он подошел к столу секретаря и показал ему крохотное розовое пятнышко на своем толстом указательном пальце.

— Укусил! — сказал он. — И как еще укусил-то, даром что и трех недель нет, как зубки прорезались! Джеки Мак-Леод, сынишка моей Селии. Этот мальчик к двадцати одному году будет стоить сто миллионов — уж я постараюсь их для него наскрести.

В дверях Джекоб приостановился и добавил:

— А цену на уксус, пожалуй, лучше повысить не на два, а на три цента. Заготовьте письма, через час приду и подпишу.

Летописец подлинного калифа Гаруна аль-Рашида сообщает, что в конце своего царствования этот монарх потерял вкус к благотворительности и велел отрубить головы всем своим прежним любимцам и спутникам в ночных прогулках. Счастливы мы, что в наш просвещенный век смертные приговоры калифов принимают более мягкую форму счета из лавки.

Сила привычки

Привычка — склонность или способность, приобретённая частым повторением.

Перевод Н. Дарузес.

Нападкам критики подвергались все источники вдохновения, кроме одного. К этому единственному источнику мы и обращаемся в поисках высокопоучительной темы. Когда мы обращались к классикам, зоилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали о Востоке и Западе, а они обвиняли нас в увлечении Джесси Джеймсом и Генри Джеймсом. Мы писали кровью сердца, а они бормотали что-то насчет больной печени. Мы брали текст от Матфея или — гм! — из Второзакония, но проповедники были против того, чтобы мы вдохновлялись Священным Писанием. Так что, прижатые к стене, мы обращаемся за темой к испытанному, проверенному, поучительному, неопровержимому источнику — полному толковому словарю.

Мисс Мэррием была кассиршей у Гинкла, Гинкл — это один из больших ресторанов в деловом квартале, или, как пишут в газетах, в «финансовом районе». Каждый день с десяти до двух ресторан бывает полон; туда сходятся проголодавшиеся клиенты — рассыльные, стенографистки, маклеры, акционеры, прожекторы, изобретатели, выправляющие патент, и просто люди при деньгах.

Должность кассирши у Гинкла далеко не синекура. Гинкл кормит завтраком — блинчиками, кофе с гренками и яичницей — много народа; а ленчем (хорошее слово, ничуть не хуже, чем «обед») — еще того больше. Можно сказать, что к завтраку у Гинкла собирается целая армия, а к ленчу — несметное войско.

Мисс Мэррием сидела на табурете за конторкой, огороженной с трех сторон крепкой, высокой решеткой из медной проволоки. Клиент просовывал в полукруглое окошечко чек и деньги, и сердце его

трепетало. Ибо мисс Мэррием была прелестна и деловита. Она могла вычестить сорок пять центов из двух долларов и отклонить предложение руки и сердца, прежде чем вы... — Следующий!.. Упустили случай — не толкайтесь, пожалуйста! — Она умела, не теряя головы и не торопясь, делать все разом: получить с вас деньги, правильно отсчитать сдачу, покорить ваше сердце, указать на вазочку с зубочистками и оценить вас с точностью до одного цента гораздо вернее, чем кассовый аппарат новейшей марки, и на все это у нее уходило меньше времени, чем нужно на то, чтобы поперчить яйцо из перечницы, какие подаются у Гинкла.

Давно известна поэтическая строка про «страшный свет, что озаряет трон»^[37]. Клетку молоденькой кассирши тоже озаряет страшное дело какой свет. За вульгарность выражения отвечает автор цитаты, а не я.

Все посетители мужского пола, от мальчишек-рассыльных до биржевых зайцев, были влюблены в мисс Мэррием. Платя по счету, они ухаживали за ней, пуская в ход все уловки, известные в ремесле Купидона. Сквозь проволочную сетку сыпались улыбки, комплименты, нежные клятвы, приглашения на обед, вздохи, томные взгляды и веселые шуточки, которые бойко парировала бойкая мисс Мэррием.

Нет позиции выгоднее, чем позиция молоденькой кассирши. Она восседает на своем табурете, как королева коммерции и комплиментов, принцесса преysкуранта, графиня графинов и Диана долларов. Вы получаете от нее улыбку и десять центов сдачи канадской монетой и уходите не жалуясь. Вы пересчитываете каждое слово, которое она бросила вам мимоходом, как скряга пересчитывает свои сокровища, и, не считая, кладете в карман сдачу с пяти долларов. Быть может, из-за медной решетки мисс Мэррием кажется особенно неприступной и очаровательной, — как бы там ни было, она ангел в английской блузке, — непорочный, нарядный, наманикюренный, обольстительный, ясноглазый и проворный — Психея, Цирцея и Ате в одном лице, лишаящая вас и денежных знаков, и душевного покоя.

Рассчитываясь с кассиршей, молодые люди, преломляющие хлеб у Гинкла, никогда не упускали случая перекинуться с ней словечком и сказать комплимент. Многие из них шли дальше этого и выдавали ей векселя в виде театральных билетов и шоколада. Солидные люди

прямо заговаривали о браке и флердоранже, но весь аромат этих цветов пропал, как только они намекали на квартиру в Гарлеме. Один маклер, прогоревший на медных акциях, гораздо чаще делал предложение мисс Мэррием, чем обедал.

В часы наплыва посетителей речь мисс Мэррием, непрерывно получавшей деньги, звучала приблизительно так:

— Доброе утро, мистер Хескинс, — да, сэр, благодарю вас, я не крашусь, — вы себе слишком много позволяете... Здравствуй, Джонни, десять, пятнадцать, двадцать, теперь беги скорей, а то снимут буквы с шапки... Извините, пожалуйста, сосчитайте еще раз. — Не стоит благодарности... В оперетку? Нет, спасибо, — в среду я смотрела Картер в «Гедде Габлер», мы были с мистером Симпсеном. Простите, я думала, это четверть доллара... Двадцать пять и семьдесят пять будет доллар — никак не отвыкнете от свинины с капустой? Я вижу, Билли... Не забывайте, пожалуйста, — сейчас получите все, что вам следует... Ах, какие глупости! Мистер Бассет, вы всегда шутите — нет? Ну что ж, может, я когда-нибудь и выйду за вас замуж — три, четыре да шестьдесят пять — это будет пять... Будьте любезны оставить ваши замечания при себе... Десять центов? Извините, на чеке у вас семьдесят — а может быть, это единица вместо семерки?... Ах, вам нравится моя прическа, мистер Сондерс? Некоторым больше нравится шиньон, но, говорят, к тонким чертам больше идет «Клео де Мерод»... да десять пятьдесят... Проходите, приятель, не задерживайтесь, тут вам не балаган на Кони-Айленд... Что? Конечно, у Мэси, правда хорошо сидит? Вовсе не холодно, легкие ткани в этом сезоне самые модные, только их и носят. Что такое? Вы уже третий раз ее подсовываете, да будет вам, эта фальшивая монета — моя старая знакомая... Шестьдесят пять? Должно быть, получили прибавку, мистер Уилсон?... Я вас видела на Шестой авеню во вторник вечером, мистер де Форест, — шикарная штучка? Ну еще бы! Кто такая?... Почему не годится? Потому, что это не деньги. Что? Колумбийский доллар? Ну, у нас тут не Южная Америка... Да, я больше люблю шоколад смесь... В пятницу? Очень жаль, по пятницам я беру уроки джиу-джитсу — тогда в четверг... Спасибо, я это шестнадцатый раз сегодня слышу — должно быть, я таки недурна... Бросьте, пожалуйста, за кого вы меня принимаете? Неужели, мистер Вестбрук, вы в самом деле так думаете? Вот

фантазия!.. Восемьдесят и двадцать будет доллар — благодарю вас, я не катаюсь на автомобилях с мужчинами — ах, ваша тетья — ну, это дело другое, может быть... Пожалуйста, без дерзостей — ваш чек был на пятнадцать центов — будьте любезны, отойдите в сторону, не мешайте... Здравствуйте, Бен, — придете в четверг? — один знакомый хотел принести коробку шоколада... сорок да шестьдесят будет доллар, да один — будет два...

Как-то в середине дня головокружительная богиня Фортуна, которую зовут еще Головокружение, сразила богатого и эксцентричного старика банкира в то время, как он проходил мимо ресторана Гинкла к трамвайной остановке. Богатый чудак-банкир, который ездит на трамвае, — это... Не задерживайтесь, пожалуйста, вы тут не один.

Самаритянин и фарисей, прохожий и полисмен, подоспевшие первыми, подняли банкира Мак-Рэмси и внесли его в ресторан Гинкла. Когда престарелый, но несокрушимый банкир открыл глаза, ему представилось прекрасное видение: склонившись над ним с нежной, сострадательной улыбкой, оно омывало бульоном его лоб и растирало ему руки чем-то замороженным из холодильника. Мистер Мак-Рэмси вздохнул, потеряв при этом пуговицу от жилета, с глубокой благодарностью посмотрел на свою прекрасную спасительницу и пришел в сознание.

Отсылаем к «Библиотеке романов» всех тех, кто предвкушает любовное приключение! У банкира Мак-Рэмси была почтенная старушка-жена, и к мисс Мэррием он питал чисто отеческие чувства. Он поговорил с ней около получаса не без пользы, — правда, другого рода пользы, чем та, которую он получал от деловых разговоров в своем кабинете. На следующий день он привез к ней миссис Мак-Рэмси. Старики были одиноки — их единственная замужняя дочь жила в Бруклине.

Короче говоря, прекрасная кассирша покорила сердца добродушных стариков. Они частенько заезжали к Гинклу и приглашали мисс Мэррием к себе, в старомодный, но роскошный особняк на одной из Семидесятых улиц. Неотразимая прелесть мисс Мэррием, ее милая искренность и сердечность взяли их приступом. Они сотни раз повторяли, что мисс Мэррием очень напоминает ушедшую от них дочь. Бруклинская матрона, урожденная Мак-Рэмси,

фигурой напоминала Будду, а лицом — идеал уличного фотографа. Мисс Мэррием была сочетанием улыбок, ямочек, розовых лепестков, атласа, жемчугов и плакатов, рекламирующих средства для ращения волос. Но довольно о родительском тщеславии.

Через месяц после того, как достойные супруги познакомились с мисс Мэррием, она стояла перед Гинклом, сообщая ему, что отказывается от места.

— Они хотят удочерить меня, — говорила она безутешному ресторатору. — Они, конечно, чудачки, но такие милые. А какой у них шикарный дом! Нет, мистер Гинкл, даже и говорить не стоит — у меня теперь другое меню: надену автомобильные очки и буду раскатывать на машине, а не то выйду замуж за герцога. А все-таки как-то жаль вылетать из старой клетки. Я столько времени просидела за кассой, что мне даже как-то чудно братья за что-нибудь другое. Ужасно буду скучать без толкотни и шуток у кассы, когда все стоят в очереди и платят за гречневые блинчики. Но не упускать же такой случай. А старики страшно добрые. Вы мне должны девять шестьдесят два с половиной за неделю. Так и быть, мистер Гинкл, скиньте полцента, коли жалко.

Сказано — сделано. Мисс Мэррием стала мисс Розой Мак-Рэмси. Она с достоинством совершила этот переход. Красота поверхностна, однако нервы лежат под кожей очень близко к поверхности. Нервы... но не потрудитесь ли вы перечесть еще раз цитату, с которой начинается рассказ?

Супруги Мак-Рэмси не жалели средств на воспитание приемной дочери. Их денежки загребали модистки, портнихи, учителя танцев и прочих предметов. Мисс... гм... Мак-Рэмси оказалась любящей, благодарной натурой и добросовестно старалась забыть Гинкла. Надо отдать честь гибкости американских девушек — ресторан Гинкла довольно скоро изгладился из ее памяти и из ее речи.

Не все помнят прибытие графа Хайтсберн в Америку на одну из Семидесятих улиц. Это был среднего качества граф, без больших долгов, и его приезд не вызвал особого оживления. Но вы, конечно, помните благотворительный базар, устроенный «Дочерьми милосердия» в отеле «Уолдорф Астория». Вы сами были там и даже написали своей Фанни записку на бумаге со штампом отеля, чтобы

показать ей... ах, вы не писали? Да, да, это было, конечно, как раз в тот вечер, когда у вас захворал ребенок.

На благотворительном базаре семейство Мак-Рэмси играло выдающуюся роль. Мисс Мэррием... гм... Мак-Рэмси блистала красотой. Граф Хайтсберн выказывал ей усиленное внимание с тех самых пор, как заехал в наши края поглядеть на Америку. Предполагалось, что в этот вечер их роман придет к благоприятной развязке. Граф, пожалуй, ничем не хуже герцога. Даже лучше. Ранг у него ниже, зато долгов меньше.

Нашу бывшую кассиршу посадили в киоск. Предполагалось, что она будет продавать аристократам и плутократам ничего не стоящие предметы по неслыханной цене. Прибыль с базара должна была пойти на рождественский обед для детей бедняков... Скажите, кстати, вы не задумывались над тем, откуда они берут остальные триста шестьдесят четыре обеда?

Мисс Мак-Рэмси, прелестная, взволнованная, очаровательная, сияющая, порхала за прилавком. Бутафорская медная сетка с маленьким полукруглым окошечком отгораживала ее от публики.

Появился граф, изящный, самоуверенный, элегантный, влюбленный — сильно влюбленный, — и подошел к окошечку.

— Вы очаговательны, догогая, клянусь честью, очаговательны, — сказал он обольстительным голосом.

Мисс Мак-Рэмси стремительно обернулась.

— Бросьте эти ваши штучки, — быстро и хладнокровно отпарировала она. — За кого вы меня принимаете? Ваш чек, пожалуйста. О господи!

Распорядители, заметив, что у одного из киосков происходит что-то необычное, сбегались туда. Граф Хайтсберн стоял рядом с киоском, пощипывая светлые бакенбарды, вставшие дыбом от изумления.

— Мисс Мак-Рэмси упала в обморок, — объяснил кто-то.

Теория и практика

Перевод М. Богословской.

Весна подмигнула редактору журнала «Минерва» прозрачным стеклянным глазком и совратила его с пути. Он только что позавтракал в своем излюбленном ресторанчике, в гостинице на Бродвее, и возвращался к себе в редакцию, но вот тут и увяз в путах проказницы весны. Это значит, если сказать попросту, что он свернул направо по Двадцать шестой улице, благополучно перебрался через весенний поток экипажей на Пятой авеню и углубился в аллею распускающегося Мэдисон-сквера.

В мягком воздухе и нежном убранстве маленького парка чувствовалось нечто идиллическое; всюду преобладал зеленый цвет, основной цвет первозданных времен — дней сотворения человека и растительности. Тоненькая травка, пробивающаяся между дорожками, отливала медянкой, ядовитой зеленью, пронизанной дыханием множества бездомных человеческих существ, которым земля давала приют летом и осенью. Лопающиеся древесные почки напоминали что-то смутно знакомое тем, кто изучал ботанику по гарниру к рыбным блюдам сорокапятицентového обеда. Небо над головой было того бледно-аквамаринового оттенка, который салонные поэты рифмуют со словами «тобой», «судьбой» и «родной». Среди всей этой гаммы зелени был только один натуральный, беспримесный зеленый цвет — свежая краска садовых скамеек, нечто среднее между маринованным огурчиком и прошлогодним дождевым плащом, который пленял покупателей своей иссиня-черной блестящей поверхностью и маркой «нелиняющий».

Однако на городской взгляд редактора Уэстбрука пейзаж представлял собою истинный шедевр.

А теперь, принадлежите ли вы к категории опрометчивых безумцев или нерешительных ангельских натур, вам придется последовать за мной и заглянуть на минутку в редакторскую душу.

Душа редактора Уэстбрука пребывала в счастливом, безмятежном покое. Апрельский выпуск «Минервы» разошелся весь

целиком до десятого числа — торговый агент из Кеокука сообщил, что он мог бы сбить еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него были. Издатели — хозяйка журнала — повысили ему (редактору) жалованье. Он только что обзавелся превосходной, недавно вывезенной из провинции кухаркой, до смерти боявшейся полисменов. Утренние газеты полностью напечатали его речь, произнесенную на банкете издателей. Вдобавок ко всему в ушах его еще звучала задорная мелодия чудесной песенки, которую его прелестная молодая жена спела ему сегодня утром, перед тем как он ушел из дому. Она последнее время страшно увлекалась пением и занималась им очень прилежно, с раннего утра. Когда он поздравил ее, сказав, что она сделала большие успехи, она бросилась ему на шею и чуть не задушила его в объятиях от радости, что он ее похвалил. Но, помимо всего прочего, он ощущал также и благотворное действие живительного лекарства опытной сиделки Весны, которое она дала ему, тихонько проходя по палатам выздоравливающего города.

Шествуя не торопясь между рядами скамеек (на которых уже расположились бродяги и блюстительницы буйной детворы), редактор Уэстбрук почувствовал вдруг, как кто-то схватил его за рукав. Полагая, что к нему пристал какой-нибудь попрошайка, он повернул к нему холодное, ничего не обещающее лицо и увидел, что его держит за рукав Доу — Шеклфорд Доу, грязный, обтрепанный, в котором уже почти не осталось и следа от человека из приличного общества.

Пока редактор приходит в себя от изумления, позволим читателю бегло познакомиться с биографией Доу.

Доу был литератор, беллетрист и давнишний знакомый Уэстбрука. Когда-то они были приятелями. Доу в то время был человек обеспеченный, жил в приличной квартире, по соседству с Уэстбруками. Обе супружеские четы часто ходили вместе в театр, устраивали семейные обеды. Миссис Доу и миссис Уэстбрук были закадычными подругами.

Но вот однажды некий спрут протянул свои щупальца и, разыгравшись, проглотил невзначай скромный капитал Доу, после чего Доу пришлось перебраться в район Грэмерси-парка, где за несколько центов в неделю можно сидеть на собственном сундуке перед камином из каррарского мрамора, любоваться на

восьмисвечные канделябры да смотреть, как мыши возятся на полу. Доу рассчитывал жить при помощи своего пера. Время от времени ему удавалось пристроить какой-нибудь рассказик. Немало своих произведений он посылал Уэстбруку. «Минерва» напечатала одно-два, все остальные вернули автору. К каждой отвергнутой рукописи Уэстбрук прилагал длинное, тщательно обдуманное письмо, подробно излагая все причины, по которым он считал данное произведение не пригодным к печати. У редактора Уэстбрука было свое, совершенно твердое представление о том, из каких составных элементов получается хорошая художественная проза. Так же как и у Доу. Что касается миссис Доу, ее больше интересовали составные элементы скромных обеденных блюд, которые ей с трудом приходилось сочинять. Как-то раз Доу угощал ее пространными рассуждениями о достоинствах некоторых французских писателей. За обедом миссис Доу положила ему на тарелку такую скромную порцию, какую проголодавшийся школьник проглотил бы, не поперхнувшись, одним плотком. Доу выразил на этот счет свое мнение.

— Это паштет Мопассан, — сказала миссис Доу. — Я, конечно, предпочла бы, пусть это даже и не настоящее искусство, чтобы ты сочинил что-нибудь вроде романа в сериях Мариона Кроуфорда, по меньшей мере, из пяти блюд и с сонетом Эллы Уилер Уилкокс на сладкое. Ты знаешь, мне ужасно есть хочется.

Так процветал Шеклфорд Доу, когда он столкнулся в Мэдисонсквере с редактором Уэстбруком и схватил его за рукав. Это была их первая встреча за несколько месяцев.

— Как, Шек, это вы? — воскликнул Уэстбрук и тут же запнулся, ибо восклицание, вырвавшееся у него, явно подразумевало разительную перемену во внешности его друга.

— Присядьте-ка на минутку, — сказал Доу, дергая его за обшлаг. — Это моя приемная. В вашу я не могу явиться в таком виде. Да сядьте же, прошу вас, не бойтесь уронить свой престиж. Эти общипанные пичуги на скамейках примут вас за какого-нибудь роскошного громилу. Им и в голову не придет, что вы всего-навсего редактор.

— Покурим, Шек? — предложил редактор Уэстбрук, осторожно опускаясь на ядовито-зеленую скамью. Он всегда сдавался не без изящества, если уж сдавался.

Доу схватил сигару, как зимородок пескаря или как юная девица шоколадную конфетку.

— У меня, видите ли, только... — начал было редактор.

— Да, знаю, можете не договаривать. У вас всего только десять минут в вашем распоряжении. Как это вы ухитрились обмануть бдительность моего клерка и ворваться в мое святилище? Вон он идет, помахивая своей дубинкой и готовясь обрушить ее на бедного пса, который не может прочесть надписи на дощечке «По траве ходить воспрещается».

— Как ваша работа, пишете? — спросил редактор.

— Поглядите на меня, — сказал Доу — Вот вам ответ. Только не стройте, пожалуйста, такой искренно соболезнующей, озабоченной мины и не спрашивайте меня, почему я не поступлю торговым агентом в какую-нибудь винодельческую фирму или не сделаюсь извозчиком. Я решил вести борьбу до победного конца. Я знаю, что я могу писать хорошие рассказы, и я заставлю вас, голубчиков, признать это. Прежде чем я окончательно расплуюсь с вами, я отучу вас подписываться под сожалениями и научу выписывать чеки.

Редактор Уэстбрук молча смотрел через стекла своего пенсне кротким, скорбным, проникновенно-сочувствующе-скептическим взором редактора, одолеваемого бездарным автором.

— Вы прочли последний рассказ, что я послал вам, «Пробуждение души»? — спросил Доу.

Очень внимательно. Я долго колебался насчет этого рассказа, Шек, можете мне поверить. В нем есть несомненные достоинства. Я все это написал вам и собирался приложить к рукописи, когда мы будем посылать ее вам обратно. Я очень сожалею...

— Хватит с меня сожалений, — яростно оборвал Доу. — Мне от них ни тепло, ни холодно. Мне важно знать, чем они вызваны. Ну, выкладывайте, в чем дело, начинайте с достоинств.

Редактор Уэстбрук подавил невольный вздох.

— Ваш рассказ, — невозмутимо начал он, — построен на довольно оригинальном сюжете. Характеры удались вам как нельзя лучше. Композиция тоже очень недурна, за исключением нескольких слабых деталей, которые легко можно заменить или исправить кой-какими штрихами. Это был бы очень хороший рассказ, но...

— Значит, я могу писать английскую прозу? — перебил Доу.

— Я всегда говорил вам, что у вас есть стиль, — отвечал редактор.

— Так, значит, все дело в том...

— Все в том же самом, — подхватил Уэстбрук. — Вы разрабатываете ваш сюжет и подводите к развязке, как настоящий художник. А затем вдруг вы превращаетесь в фотографа. Я не знаю, что это у вас — мания или какая-то форма помешательства, но вы неизменно впадаете в это всякий раз, что бы вы ни писали. Нет, я даже беру обратно свое сравнение с фотографом. Фотографии, несмотря на немислимую перспективу, все же удается кой-когда запечатлеть хоть какой-то проблеск истины. Вы же всякий раз, как доводите до развязки, портите все какой-то грязной, плоской, уничтожающей мазней; я уже столько раз указывал вам на это. Если бы вы в ваших драматических сценах держались на соответственной литературной высоте и изображали бы их в тех возвышенных тонах, которых требует настоящее искусство, почтальону не приходилось бы вручать вам так часто толстые пакеты, возвращающиеся по адресу отправителя.

— Экая ходульная чепуха! — насмешливо фыркнул Доу. — Вы все еще никак не можете расстаться со всеми этими дурацкими вывертами отжившей провинциальной драмы. Ну ясно, когда черноусый герой похищает златокудрую Бесси, мамаша выходит на авансцену, падает на колени и, воздев руки к небу, восклицает: «Да будет Всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший мое дитя, не испытает на себе всей силы материнского отмщения!»

Редактор Уэстбрук невозмутимо улыбнулся спокойной, снисходительной улыбкой.

— Я думаю, что в жизни, — сказал он, — женщина, мать выразилась бы вот именно так или примерно в этом роде.

— Да ни в каком случае, ни в одной настоящей человеческой трагедии, — только на подмостках. Я вам скажу, как она реагировала бы в жизни. Вот что она сказала бы: «Как! Бесси увел какой-то незнакомый мужчина? Боже мой, что за несчастье! Одно за другим! Дайте мне скорей шляпу, мне надо немедленно ехать в полицию. И почему никто не смотрел за ней, хотела бы я знать? Ради бога, не мешайтесь, уйдите с дороги, или я никогда не соберусь. Да не эту шляпу, коричневую с бархатной лентой. Бесси, наверно, с ума сошла!»

Она всегда так стеснялась чужих! Я не слишком напудрилась? Ах, боже мой! Я прямо сама не своя!»

— Вот как она реагировала бы, — продолжал Доу. — Люди в жизни, в минуту душевных потрясений, не впадают в героику и мелодекламацию. Они просто не способны на это. Если они вообще в состоянии говорить в такие минуты, они говорят самым обыкновенным, будничным языком, разве что немножко бессвязней, потому что у них путаются мысли и слова.

— Шек, — внушительно произнес редактор Уэстбрук, — случилось ли вам когда-нибудь вытащить из-под трамвая безжизненное, изуродованное тело ребенка, взять его на руки, принести и положить на колени обезумевшей от горя матери? Случалось ли вам слышать при этом слова отчаянья и скорби, которые в эту минуту сами собой срывались с ее губ?

— Нет, не случилось, — отвечал Доу. — А вам случилось?

— Да нет, — слегка поморщившись, промолвил редактор Уэстбрук. — Но я прекрасно представляю себе, что она сказала бы.

— И я тоже, — буркнул Доу.

И тут для редактора Уэстбрука настал самый подходящий момент выступить в качестве оракула и заставить умолкнуть несговорчивого автора. Мыслимо ли позволить неудавшемуся прозаику вкладывать в уста героев и героинь журнала «Минерва» слова, не совместимые с теориями главного редактора?

— Дорогой мой Шек, — сказал он, — если я хоть что-нибудь смыслю в жизни, я знаю, что всякое неожиданное, глубокое, трагическое душевное потрясение вызывает у человека соответственное, сообразное и подобающее его переживанию выражение чувств. В какой мере это неизбежное соотношение выражения и чувства является врожденным, в какой мере оно обуславливается влиянием искусства, это трудно сказать. Величественное, гневное рычанье львицы, у которой отнимают детенышей, настолько же выше по своей драматической силе ее обычного воя и мурлыканья, насколько вдохновенная, царственная речь Лира выше его старческих причитаний. Но наряду с этим всем людям, мужчинам и женщинам, присуще какое-то, я бы сказал, подсознательное драматическое чувство, которое пробуждается в них под действием более или менее глубокого и сильного переживания;

это чувство, инстинктивно усвоенное ими из литературы или из сценического искусства, побуждает их выражать свои переживания подобающим образом, словами соответствующими силе и глубине чувства.

— Но откуда же, во имя всех небесных туманностей, черпает свой язык литература и сцена? — вскричал Доу.

— Из жизни, — победоносно изрек редактор.

Автор сорвался с места, красноречиво размахивая руками, но явно не находя слов для того, чтобы подобающим образом выразить свое негодование.

На соседней скамье какой-то оборванный малый, приоткрыв осоловелые красные глаза, обнаружил, что его угнетенный собрат нуждается в моральной поддержке.

— Двинь его хорошенько, Джек, — прохрипел он. — Этаким шаромыжник, пришел в сквер и бузит. Не дает порядочным людям спокойно посидеть и подумать.

Редактор Уэстбрук с подчеркнутой невозмутимостью посмотрел на часы.

— Но объясните мне, — в яростном отчаянии накинулся на него Доу, — в чем, собственно, заключаются недостатки «Пробуждения души», которые не позволяют вам напечатать мой рассказ.

— Когда Габриэль Мэррей подходит к телефону, — начал Уэстбрук, — и ему сообщают, что его невеста погибла от руки бандита, он говорит, я точно не помню слов, но...

— Я помню, — перебил Доу. — Он говорит: «Проклятая Центральная, вечно разъединяет. (И потом своему другу.) Скажите, Томми, пуля тридцать второго калибра это что, большая дыра? Надо же, везет как утопленнику! Дайте мне чего-нибудь хлебнуть, Томми, посмотрите в буфете, да нет, чистого, не разбавляйте».

— И дальше, — продолжал редактор, уклоняясь от объяснений, — когда Беренис получает письмо от мужа и узнает, что он бросил ее и уехал с маникюршей, она, я сейчас припомню...

— Она восклицает, — с готовностью подсказал автор: — «Нет, вы только подумайте!»

— Бессмысленные, абсолютно неподходящие слова, — отозвался Уэстбрук. — Они уничтожают все, рассказ превращается в какой-то жалкий, смехотворный анекдот. И хуже всего то, что эти слова

являются искажением действительности. Ни один человек, внезапно постигнутый бедствием, не способен выразиться таким будничным, обиходным языком.

— Вранье! — рявкнул Доу, упрямо сжимая свои небритые челюсти. — А я говорю — ни один мужчина, ни одна женщина в минуту душевного потрясения не способны ни на какие высокопарные разглагольствования. Они разговаривают, как всегда, только немножко бессвязней.

Редактор поднялся со скамьи с снисходительным видом человека, располагающего негласными сведениями.

— Скажите, Уэстбрук, — спросил Доу, удерживая его за обшлаг, — а вы приняли бы «Пробуждение души», если бы вы считали, что поступки и слова моих персонажей в тех ситуациях рассказа, о которых мы говорили, не расходятся с действительностью?

— Весьма вероятно, что принял бы, если бы я действительно так считал, — ответил редактор. — Но я уже вам сказал, что я думаю иначе.

— А если бы я мог доказать вам, что я прав?

— Мне очень жаль, Шек, но боюсь, что у меня больше нет времени продолжать этот спор.

— А я и не собираюсь спорить, — отвечал Доу. — Я хочу доказать вам самой жизнью, что я рассуждаю правильно.

— Как же вы можете это сделать? — удивленно спросил Уэстбрук.

— А вот послушайте, — серьезно заговорил автор. — Я придумал способ. Мне важно, чтобы моя теория прозы, правдиво отображающей жизнь, была признана журналами. Я борюсь за это три года и за это время прожил все до последнего доллара, задолжал за два месяца за квартиру.

— А я, выбирая материал для «Минервы», руководился теорией, совершенно противоположной вашей, — сказал редактор. — И за это время тираж нашего журнала с девяноста тысяч поднялся...

— До четырехсот тысяч, — перебил Доу, — а его можно было бы поднять до миллиона.

— Вы, кажется, собирались привести какие-то доказательства в пользу вашей излюбленной теории?

— И приведу. Если вы пожертвуете мне полчаса вашего драгоценного времени, я докажу вам, что я прав. Я докажу это с помощью Луизы.

— Вашей жены! Каким же образом? — воскликнул Уэстбрук.

— Ну, не совсем с ее помощью, а, вернее сказать, на опыте с ней. Вы знаете, какая любящая жена Луиза и как она привязана ко мне. Она считает, что вся наша ходкая литературная продукция — это грубая подделка, и только я один умею писать по-настоящему. А с тех пор как я хожу в непризнанных гениях, она стала мне еще более преданным и верным другом.

— Да, поистине ваша жена изумительная, несравненная подруга жизни, — подтвердил редактор. — Я помню, она когда-то очень дружила с миссис Уэстбрук, они прямо-таки не расставались друг с другом. Нам с вами очень повезло, Шек, что у нас такие жены. Вы должны непременно прийти к нам как-нибудь на днях с миссис Доу; поболтаем, посидим вечером, соорудим какой-нибудь ужин, как, помните, мы, бывало, устраивали в прежнее время.

— Хорошо, когда-нибудь, — сказал Доу, — когда я обзаведусь новой сорочкой. А пока что вот какой у меня план. Когда я сегодня собрался уходить после завтрака — если только можно назвать завтраком чай и овсянку, — Луиза сказала мне, что она пойдет к своей тетке на Восемьдесят девятую улицу и вернется домой в три часа. Луиза всегда приходит минута в минуту. Сейчас...

Доу покосился на карман редакторской жилетки.

— Без двадцати семи три, — сказал Уэстбрук, взглянув на часы.

— Только-только успеть... Мы сейчас же идем с вами ко мне. Я пишу записку и оставляю ее на столе, на самом виду, так что Луиза сразу увидит ее, как только войдет. А мы с вами спрячемся в столовой, за портьерами. В этой записке будет написано, что я расстаюсь с ней навсегда, что я нашел родственную душу, которая понимает высокие порывы моей артистической натуры, на что она, Луиза, никогда не была способна. И вот, когда она прочтет это, мы посмотрим, как она будет себя вести и что она скажет.

— Ни за что, — воскликнул редактор, энергично тряся головой. — Это же невыносимая жестокость. Шутить чувствами миссис Доу, — нет, я ни за что на это не соглашусь.

— Успокойтесь, — сказал автор. — Мне кажется, что ее интересы дороги мне, во всяком случае, не меньше, чем вам. И я в данном случае забочусь столько же о ней, сколько о себе. Так или иначе, я должен добиться, чтобы мои рассказы печатались. А с Луизой от этого ничего не случится. Она женщина здоровая, трезвая. Сердце у нее работает исправно, как девятиностовосьмицентовые часы. И потом, сколько это продлится — минуту... я тут же выйду и объясню ей все. Вы должны согласиться, Уэстбрук. Вы не вправе лишать меня этого шанса.

В конце концов редактор Уэстбрук, хоть и неохотно и, так сказать, наполовину, дал свое согласие. И эту половину следует отнести за счет вивисектора, который, безусловно, скрывается в каждом из нас. Пусть тот, кто никогда не брал в руки скальпеля, осмелится подать голос. Все горе в том, что у нас не всегда бывают под рукой кролики и морские свинки.

Оба искусствовиспытателя вышли из сквера и взяли курс на восток, потом повернули на юг и через некоторое время очутились в районе Грэмерси. Маленький парк за высокой чугунной оградой красовался в новом зеленом весеннем наряде, любясь своим отражением в зеркальной глади бассейна. По ту сторону ограды выстроившиеся прямоугольником потрескавшиеся дома — покинутый приют отошедших в вечность владельцев — жались друг к другу, словно шушуканющиеся призраки, вспоминая давние дела исчезнувшей знати. *Sic transit gloria urbis.* [\[38\]](#)

Пройдя примерно два квартала к северу от парка, Доу с редактором опять взяли курс на восток и вскоре очутились перед высоким узким домом с безвкусно разукрашенным фасадом. Они взобрались на пятый этаж, и Доу, едва переводя дух, достал ключ и открыл одну из дверей, выходящих на площадку. Когда они вошли в квартиру, редактор Уэстбрук с чувством невольной жалости окинул взглядом убогую и скудную обстановку.

— Берите стул, если найдете, — сказал Доу, — а я пока поищу перо и чернила. Э, что это такое? Записка от Луизы, по-видимому, она оставила мне, когда уходила.

Он взял конверт со стола, стоявшего посреди комнаты, и, вскрыв его, стал читать письмо. Он начал читать вслух и так и читал до конца. И вот что услышал редактор Уэстбрук:

«Дорогой Шеклфорд!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже за сотню миль от тебя и все еще буду ехать. Я поступила в хор Западной оперной труппы, и сегодня в двенадцать часов мы отправляемся в турне. Я не хочу умирать с голоду и поэтому решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я не вернусь к тебе больше. Мы едем вместе с миссис Уэстбрук.

Она говорит, что ей надоело жить с агрегатом из фонографа, льдины и словаря и что она также не вернется. Мы с ней два месяца практиковались потихоньку в пении и танцах. Я надеюсь, что ты добьешься успеха и все будет хорошо.

Прощай.

Луиза».



Доу уронил письмо и, закрыв лицо дрожащими руками, воскликнул потрясенным, прерывающимся голосом:

— *Господи Боже, за что Ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех Твоих небесных даров — вера, любовь — станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!*

Пенсне редактора Уэстбрука свалилось на пол. Растерянно теребя пуговицу пиджака, он бормотал посиневшими губами:

— *Послушайте, Шек, ведь это черт знает что за письмо! Ведь этак можно человека с ног сбить. Да ведь это же черт знает что такое! А? Шек?*

Во втором часу у Руни

Перевод Л. Беспаловой.

Лишь в нью-йоркском Ист-Сайде живы еще традиции Капулетти и Монтекки. И борьба там ведется не по правилам арифметики. Попробуйте показать кукиш стороннику враждебного дома — и вы обречены на кровопролитную войну. На Бродвее вы можете тащить своего недруга за нос хоть десять кварталов кряду, он будет только призывать стражников; но во владениях ист-сайдских Тибальтов и Меркуцио нельзя ни плазом моргнуть против этикета, ни локтем двинуть в баре, где постоянными клиентами числятся враги вашего дома и рода.

Вот почему, когда Эдди Мак-Манус, известный среди Капулетти как Хват Мак-Манус, забрел к Немчуре Майку промочить горло и наткнулся там на местных Монтекки, которые тешились пивом, он с ходу повел себя наикорректнейшим образом. Воспитание не позволило ему уйти из салуна, не утолив жажду; осмотрительность направила его стопы к стойке, где зеркало оповещало о всех перебросках противника, следить за которыми его равнодушный взгляд, казалось, считал ниже своего достоинства; опыт нашептывал, что сегодня перст раздора на славу поорудует среди пивных кружек Немчуры Майка. За Хватом, ни на шаг от него не отставая, следовал Шут Клири, его Меркуцио, неизменный спутник всех его походов. Так они стояли друг против друга — четверо представителей шайки Малберри-Хилз, двое — шайки Ремонтных доков; обе стороны держались с такой обходительностью, что Немчура Майк одним лишь глазом присматривал за клиентами, другим же то и дело поглядывал под стойку бара, куда он имел привычку спасаться, когда грозная вежливость соперничающих организаций материализовалась в пули и хладные клинки.

Но не о битвах Малберри-Хилз и Ремонтных доков поведем мы рассказ. А о заведении Руни, где на самой что ни на есть прогнившей, мертвой ветке древа жизни распустилась невзрачная бледная орхидея.

На таком высоком уровне обходительности стороны не могли продержаться долго. Неизвестно, кто первый совершил погрешность против ритуала, только возмездие последовало незамедлительно. Бык Малони, представитель Малберри-Хилз, стремительным маневром, достойным самого Дьюи^[39], развернул на штормовом мостике свою восьмидюймовую пушку. С кем мне сравнить Мак-Мануса? Лишь торпедо решусь я уподобить его. Поднырнув под орудийным огнем, он всего на каких-то три дюйма вонзил свой клинок в ребра лучшего крейсера Малберри-Хилз. Тем временем отменный стратег Шут Клири, перелетев через буфетную стойку, выключил свет, так что отныне лишь огонь орудийных залпов освещал сражение. Немчура Майк ползком покинул свое убежище и выскочил на улицу, призывая стражников, а отнюдь не Шекспира, который мог бы увековечить эту покрытую мраком потасовку.

Явился полисмен и увидел бледного, истекающего кровью Монтеки, а с ним — трех удрученных и скрытных сторонников его дома. Верные бандитской этике, они, все как один, показали, что не знают, чья рука сразила Малони. Ни одного Капулетти на поле брани не оказалось.

— Кончай свои допросы-мопросы, — сказал Бык Малони блюстителю закона. — Еще бы мне не знать, кто меня пырнул. Я с завязанными глазами всегда уляжусь такого парня, который превратит меня в витрину скобяной лавки. Нет, и не подумаю сказать тебе, как его зовут. Сам с ним сквитаюсь. Ой-ай! Полегче, ребята! Мы с ним сами разберемся. Считай, что жалобу я не подавал.

В полночь Мак-Манус обогнул штабель теса в одном из истсайдских доков и задержался неподалеку от некоего пожарного крана. Через десять минут к условленному месту как бы невзначай подошел Шут Клири.

— Малони, может, и не отдаст концы, — сказал Шут, — и стукнуть он, ясное дело, не стукнет. А вот Немчура Майк уже стукнул. Заявил в полиции: ему, видишь ли, надоело, что в его салуне без прорыва идет пальба. А нам это сейчас страсть как несподручно, потому что Тим Корригэн отбыл в Европу, прохлаждается там с коронованными особами. Он вернется на «Кайзере Вильгельме» только в следующую пятницу. До тех пор тебе придется сидеть тихо и

не высовывать никуда носу. А вернется Тим, он твое дело уладит в два счета.

Все вышеизложенное должно вам объяснить, почему Хват Мак-Манус в один прекрасный вечер забрел к Руни и там в первый раз за всю свою рискованную биографию заглянул в ослепительное нездешним светом лицо Романтики.

Пока Тим Корригэн вращался в высшем свете и не мог пригрозить своим длинным белым перстом в кое-каких кабинетах, Хвату были заказаны все излюбленные притоны его шайки. Посему он засел в комнате некоего Капулетти, окнами во двор на самой верхотуре, и коротал время, читая розовые листки спортивного приложения и понося тихиходность «Кайзера Вильгельма».

Но к вечеру четверга Хвату опостылела жизнь затворника. Ни одна лань так не желала припасть к водоразборной колонке, как желал Хват Мак-Манус припасть к холодной пенящейся кружке, упереться ногой в прочную медную подножку и не спеша перебрасываться шутками и подначками через сверкающую стойку. Однако район, где его знала каждая собака, был закрыт для Мак-Мануса. Полиция искала его повсюду, потому что сезон был скуден новостями и, за неимением лучшего, газеты опять подняли крик, что полиция не может найти управу на гангстеров. Если его зацапают прежде, чем «Кайзер Вильгельм» вернется, никакой Корригэн ему не поможет: будет уже слишком поздно грозить длинным белым пальцем. Но Корригэн ожидался на следующий день, и Хват решил, что может смело позволить себе небольшой выход в сферу тех нехитрых удовольствий, без которых для него жизнь не в жизнь.

В половине первого Мак-Манус стоял на тускло освещенной улице и вглядывался в фамилию РУНИ, начертанную пылающими буквами на вывеске над окном второго этажа. Он слышал про этот притон, но не знал ни кто сюда ходит, ни где он помещается.

Руководствуясь неизменными приметам, общими для всех подобного рода заведений, он поднялся по лестнице и вошел в просторную комнату, расположенную прямо над кафе.

Там стояло штук двадцать-тридцать столиков, сейчас наполовину пустых. Официанты разносили напитки. В одном конце комнаты человекообразная пианола, одурело поглядывая на посетителей, с остервенелым автоматизмом невпопад молотила по клавишам. Время

от времени — к счастью, не слишком часто — кто-то из официантов, чередуя рев с визгом, исполнял песню — одну из песен, пестреющих «мистерами Джонсонами», «детками» и «черномазыми», словесными гарантиями исторической достоверности африканских мелодий, слагаемых юнцами в красных жилетах, возвращенными среди хлопковых плантаций и рисовых болот Западной Тридцать восьмой.

А теперь — это у вас займет всего минуту — отдайте вместе со мной дань восхищения Руни, полюбуйтесь, как он принимает гостей, как рассказывает их, как управляется с ними, как над ними подтрунивает. Руни нет и тридцати. У него нос Веллингтона, подбородок Данте, скулы ирокеза, улыбка Талейрана, быстрота и натиск Корбетта^[40] и осанка одиннадцатилетней ист-сайдской Королевы Мая. У него есть помощник, известный всем как Фрэнк, компанейский, франтоватый крепыш, который снует между столами и присматривает, чтобы уныние забыло дорогу к Руни. Как вы думаете, чем объясняется популярность Руни? Днем там как нельзя более респектабельно: почтенные дамы в митенках, увешанные свертками, в сопровождении детей и беспородных собак, заглядывают к Руни выпить кружку пива и перекинуться словечком. Даже вечером, при газовом свете, развлечения у Руни довольно унылого свойства — выпивка, рэгтайм, ничего неожиданного, вот разве что официант ошарашит вас, подтерев натекшую лужицу пива под вашей липкой кружкой. И все же ответ на ваш вопрос существует. Вот он — переселение душ! Душа сэра Уолтера Рэли^[41], удрав из-под его роскошного камзола, обрела родной дом под броским клетчатым жилетом Руни. Руни на два десятилетия опередил свое время. Руни снял эмбарго! Руни прикрыл своим плащом мокрый перекресток общественного мнения, и любая Елизавета, которая ступит на него, может утереть нос королеве. А теперь внимайте, ибо вам откроется тайна: у Руни дамам разрешено курить.

Мак-Манус опустился на свободный стул. Оплатил свое пиво, сбил котелок на кирпично-рыжий затылок, оплел ноги вокруг перекладин стула, и сокровенные глубины его легких исторгли вздох облегчения: ибо грязные соблазны эти были слаще меда устам его.

Это фальшивое веселье, этот лихорадочный блеск поддельного гостеприимства, неуместный безрадостный смех, сердечность, вызванная к жизни винными парами, жуткая гнетущая тишина,

временами перемежающаяся бравурной музыкой, присутствие нарядных, беззастенчивых дам, этих вечных данниц Руни, благодетеля Руни, снявшего запрет на табак, привычные смешанные запахи подмокшей лимонной кожуры, выдохшегося пива и «Peau d'Espagne»^[42] — Хвату Мак-Манусу, напостившемуся за неделю в той пустыне, которую являла собой комната некоего Капулетти, все это казалось манной небесной.

Девушка без провожатых вошла к Руни, быстрым, но неторопливым взглядом окинула комнату и села напротив Мак-Мануса. Лишь две секунды задержала она на нем взгляд — тот взгляд, которым женщина прощупывает каждого встреченного ею мужчину. За это время она решает, как ей поступить — визгом натравить на него полицейского или впоследствии выйти за него замуж.

Закончив недолгий осмотр, девушка положила на стол потертую красную сафьяновую сумочку с торчащим из нее обтрепанным уголком кружевного платка, полощущимся подобно парусу. Отправив ближайшего официанта за легким пивом, она вынула из сумочки коробку папирос и закурила с чуть-чуть преувеличенной небрежностью. Снова заглянула в глаза Хвату Мак-Манусу и улыбнулась.

Этот миг решил судьбу обоих.

Непостижимое желание мужчины, едва он окинет первым взглядом женщину, до конца жизни покупать для нее наряды и разжигать костры, отнюдь не редкость среди той скромной части человечества, которая не интересуется ни финансами, ни гербами, ни пьесами Шоу. Любовь с первого взгляда знакома и светскому обществу, но там таких случаев раз-два и обчелся; как правило, это внезапное помешательство встречается среди таких простодушных созданий, как голубь, сизокрылая галочка и клерк, живущий на десять долларов в неделю. Поэты, подписчики литературных журналов и сваты, возьмите это соображение на заметку!

Обменявшись таинственными магнетическими токами, оба тут же ощутили в себе желание лгать, втирать очки, ослеплять и морочить, то есть самые низменные из тех побуждений, что порождает странное умопомрачение, именуемое любовью.

— Еще пива? — обратился Хват к девушке.

В его кругу такое предложение расценивалось как визитная карточка, сопровождаемая рекомендательными письмами и поручительствами.

— Спасибо, нет, — сказала девушка, наморщив лоб и старательно подыскивая приличествующие случаю слова. — Я зашла сюда на минутку... промочить горло. — Видимо, она сочла, что папираса требует объяснения. — Моя тетья — русская знатная дама. И дома мы после обеда, случается, выкуриваем по папироске.

— Бросьте заливать! — сказал Хват, на которого светский тон действовал удручающе. — У вас пальцы едва не желтее моих.

— Послушайте! — сказала девушка, и голос ее от негодования перешел в шип. — Да за кого вы меня принимаете? Да что это вы себе позволяете? А?

Девушка была прехорошенькая, ее большие карие глаза дерзко блестели. Из-под лихо сдвинутого берета виднелись разделенные прямым пробором вьющиеся рыжеватые волосы, собранные низко на затылке. Подбородок и шея ее еще по-девичьи круглились, но щеки и пальцы уже начали худеть. Она взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением. Ее нарядный коричневый жакет, забрызганный грязью, стоил явно недешево. Из-под черного платья была на два дюйма выпущена спускавшаяся до полу оборка лиловой шелковой нижней юбки.

— Извиняюсь, — сказал Хват, во все глаза глядя на девушку. — Я ничего такого и не думал. Сдается мне, что в куренье особого вреда нет, Моды.

— Я не знаю другого такого места, где дамам разрешено курить, — сказала девушка, которую быстро умилостивили его извинения. — Видно, в привычке этой хорошего мало, но дома тетья нам позволяет курить. И запомните, меня зовут вовсе не Моды, а Руби Деламир.

— Вот это да! — сказал восхищенно Хват. — А меня зовут Мак-Манус. Хват... э... Эдди Мак-Манус.

— Очень даже подходяще, — засмеялась Руби. — Так что не извиняйтесь.

Хват задумчиво посмотрел на большие настенные часы. Быстрые глаза девушки перехватили его взгляд.

— Я знаю, что уже поздно, — сказала она и потянулась за сумочкой. — Да вы небось сами знаете, как приспичивает, когда приспичит закурить. А что, разве к Руни ходить неприлично? Сколько я сюда ни захаживала, все было чинно-благородно. То есть я и была-то здесь всего два раза. Я работаю в переплетной мастерской на Третьей авеню. Три раза в неделю нам приходится допоздна работать сверхурочно. В мастерской нам, ясное дело, курить не разрешают. Вот я и заскочила сюда курнуть по дороге домой. А что, правда, сюда ходить неприлично? Если такое ваше мнение, я больше сюда ни ногой.

— Сейчас, пожалуй, всюду поздновато ходить одной, — сказал Хват. — Об этой забегаловке мне мало что известно; но одно скажу: если тебя тут заснимут, вряд ли эту карточку захочешь послать в подарок своему учителю воскресной школы. Опрокиньте еще кружечку и как насчет того, чтобы я вас проводил домой?

— Но я с вами не знакома, — сказала девушка с похвальной щепетильностью. — И не в моих привычках водить компанию с джентльменами, которых я не знаю. Тетя б меня не одобрила.

— И зря, — сказал Хват Мак-Манус, подергав себя за ухо. — Уж что-что, а даму я проводить умею, можно сказать, по последнему слову науки и техники. Вы увидите, Руби, я парень что надо. Мой родитель главная опора всего уолл-стритовского заведения. Стоит ему высунуться из окна, как моргановская кляча от радости подбрасывает в воздух свой соломенный чепчик. Господи! Да и сейчас тренировку прохожу при Уолл-стрите. Провалиться мне на этом месте, если к следующему дню рождения старик не отвалит мне места на бирже. Только меня все это не больно интересует. Мне больше по душе гольф, яхты ну и, скажем, матч раундов этак на десять между боксерами полусреднего веса, в бойцовских перчатках, ясное дело.

— Так и быть, можете проводить меня до дверей, — сказала девушка неуверенно, но явно польщенно. — Хотя я ничего хорошего не слышала ни о маклерах с Уолл-стрита, ни о гуляках, которые только и знают, что шляться по кулачным боям. Вы что, ничего получше о себе рассказать не можете?

— Сдается мне, — сказал внушительно Хват, — что я не видывал в этом городишке девушки красивее вас.

— Да ладно! Все бы вам насмешничать! — Укор она смягчила глубоким, сияющим, украшенным улыбкой взглядом. — А пиво мы

все-таки допьём, верно?

Официант исполнил песню. Табачный дым сгустился, поплыл, пополз вверх завитками, волнами, зыбкими слоями, кучевыми облаками, воздухопадами, туманными сгустками; казалось, у вас на глазах из ребер четырех предыдущих стихий рождается некая пятая. Гости смеялись и болтали оживленнее, воодушевленные напитками, в изобилии разносимыми официантами, и тем любезным приемом, который Руни оказал курящей части прекрасного пола.

Пробило час. Снизу донеслись звуки запираемых дверей. Фрэнк аккуратно задернул шторы на окнах, выходящих на улицу. Руни спустился вниз и встал на пороге, прикрыв рукой огонек папиросы. Отныне проникнуть к Руни мог лишь тот, кто предъявит вместо пропуска лицо, которое признает ястребиный взгляд самого Руни, — лицо свойского парня.

Хват Мак-Манус и переплетчица самозабвенно беседовали, облокотясь о стол. Едва пригубленные кружки пива были сдвинуты на край, пена на них опала, оборотясь тонкой белой пленкой. После часу приевшиеся увеселения Руни обретали несвойственную им дотоле пикантность, и не потому, что с этого времени программа развлечений расширялась, а потому, что теперь в них ощущался вкус запретного плода. Выдохшийся стакан пива отдавал незаконностью, слабейший крющон наносил сокрушительный удар по закону и порядку, безобидная компания гуляк оборачивалась шайкой правонарушителей, бросающих вызов властям и правителям. Ибо в таком заведении, как у Руни, где не живут и не столуются, после часу владелец не вправе напоить ни одного мучимого жаждой жителя четырехмиллионного города. Таков закон.

— Послушайте, — сказал Мак-Манус и налег внушительной грудью и локтями на стол. — А вы, правда, работаете в переплетной мастерской и живете дома, а сюда только мимоходом зашли... и... словом, вы меня не разыгрываете?

— Скажете тоже, — пылко заверила его девушка. — Да что вы себе думаете? С чего бы это мне вам заливать? Пойдите в мастерскую и спросите сами. Ей-ей, я вам все как есть рассказала.

— Все как есть, ей-же-ей? — сказал Хват. — Я ведь хочу, чтоб у нас все было по-честному потому что...

— А почему?

— Сдаюсь, — сказал Хват. — Вы меня заарканили. Я давно ищу такую девушку, как вы. Хотите дружить со мной, а, Руби?

— А вы-то сами хотите, а, Эдди?

— Еще как! Только, понимаете, какая штука, я хочу, чтобы вы все мне... про себя по-честному рассказали. Когда парень дружит с девушкой... крепко дружит... ему, понимаете, какая штука, хочется, чтобы девушка была хорошая. Чтоб у них все было по-честному и чтоб она не подвела его.

— Вот увидите, Эдди, я вас не подведу.

— Знаю, что не подведете. Я верю, что вы мне все по-честному рассказали. И уж не сердитесь, что я вас так спрашиваю. Таких девушек, как вы, не часто встретишь за полночь у Руни, да еще с папиросой в зубах.

Девушка покраснела и потупилась.

— До меня только сейчас дошло, — сказала она кротко. — А то ведь мне и в голову не приходило, что обо мне могут такое подумать. Но больше я сюда ни-ни. Теперь я после работы — прямиком домой. И если хотите, Эдди, я брошу курить... вот хоть сейчас.

Хват принял вид задумчивый, собственнический, строгий и в то же время сочувственный.

— Даме курить можно, — вынес он наконец свой вердикт, — только смотря где и когда. А почему можно? Да потому, что настоящей даме, без подделки, многое позволено.

— А я все-таки брошу. Ничего хорошего в куренье нет. — Девушка смахнула окурки на пол.

— Смотри где и когда, — повторил Хват. — Как-нибудь вечером я зайду за вами, мы найдем скамеечку поукромнее в Стюйвезант-сквере и подышим там в свое удовольствие. Но к Руни за полночь — ни ногой, заметано?

— Эдди, а я вам, ей-ей, нравлюсь? — Девушка встревоженно вглядывалась в загорелое, но прямодушное лицо Хвата.

— Ей-же-ей.

— А когда вы придете ко мне?

— В субботу. Послезавтра вечером вам подходит?

— Очень даже. Я буду вас ждать. Приходите к семи. Когда вы меня сегодня проводите, я вам покажу, где я живу. Смотрите,

запомните дорогу. А пока, мистер Мак-Манус, не вздумайте гулять с другими! Хотя говори не говори, разве вас удержишь.

— Ей-же-ей, — сказал Хват, — рядом с вами другие девушки все равно что пугала огородные. Правда. Нет, я такой парень, что, если мне что понравится, я того не упущу. Ей-же-ей.

Снизу донесся громкий стук: кто-то напористо дубасил в парадную дверь. Подобный грохот мог производить лишь паровой молот или нога полицейского. Руни лягушкой отпрыгнул в угол, выключил свет и кубарем скатился по лестнице.

Комната погрузилась в темноту, лишь кое-где мигали красные глазки сигар и папирос. Грохот ударов возвестил, что противник снова пошел на приступ. Среди гостей началась легкая паника, шорох, перешептывание. В оранжевых отсветах горящих папирос было видно, как спокойный, невозмутимый, хладнокровный Фрэнк переходит от столика к столику.

— Сидеть тихо! — командовал он. — Не говорить, не шуметь. Все обойдется. Попрошу не беспокоиться. Мы никого не дадим в обиду.

Руби шарила по столу, пока ее руку не накрыла твердая ладонь Хвата.

— Эдди, а вы боитесь? — шепнула она. — Боитесь, что придется сесть на казенный кошт?

— Пока еще от страха зубами не лязгаю, — сказал Хват. — Небось Руни запоздал кое-кого подмазать. Не робейте, детка, со мной не пропадете.

Надо сказать, что Мак-Манус только напускал на себя лихость. Полиция охотилась за обидчиком Быка Малони, Корригэн плыл по волнам океана, так что попади он сейчас в облаву, ему конец! И надо же такому случиться как раз, когда он встретил Руби! И зачем только он покинул жилище верного Капулетти — хорошо бы сидеть сейчас там на верхотуре и штудировать розовые листки!

Руни, судя по всему, отпер парадную дверь и вступил в переговоры с представителями закона в темном коридоре нижнего этажа. Фрэнк встал в дверях наверху, изображая собой беспроволочный телеграф. Вдруг он захлопнул дверь, бегом пересек комнату и зажег на другом ее конце тусклый газовый рожок.

— Все сюда! — позвал он. — Побыстрее и попрошу без шума.

Перепуганные гости ринулись к нему. Сподвижник Руни отодвинул потайную панель в стене, выходящей на задний двор, к которой заранее приставляли лестницу, дабы в случае необходимости посетители могли улизнуть.

— А теперь все вниз и на улицу, живо! — скомандовал Фрэнк. — Дам попрошу пропустить вперед! Потише, пожалуйста! Не толпиться! Вам ничего не грозит.

Хват и Руби, одни из последних, ждали своей очереди у потайной панели. Вдруг Руби, оттолкнув Хвата в сторону, отчаянно вцепилась ему в руку.

— Пока мы отсюда не ушли, — шепнула она ему на ухо, — и пока ничего не стряслось, Эдди, скажите мне еще раз... вы меня л... я вам, ей-ей, нравлюсь?

— Ей-же-ей, — сказал Хват, свободной рукой привлекая девушку к себе. — Я в вас врезался по уши.

Когда они опомнились, оказалось, что ловушка захлопнулась, а вокруг кромешная тьма. Последний из посетителей давным-давно спустился вниз. Сейчас они, спотыкаясь и хихикая, волочили лестницу где-то посередине двора к низенькому дому, через крышу которого лежал их единственный путь к спасению.

— Раз так, можно за те же деньги и посидеть, — угрюмо сказал Хват. — Как знать, вдруг Руни еще отобьется.

Они сели за ближайший стол, их руки снова нашли друг друга.

Но тут в дверь ввалились какие-то мужчины и стали ощупью пробираться в темноте. Один из них — а это был сам Руни — нашел выключатель и зажег свет. Другой оказался полицейским старой закалки — крупным, грузным, гневливым и грубым — словом, таким полицейским, встреча с которым не сулит ничего доброго. Он подошел к нашей парочке и улыбнулся девушке, как старой знакомой.

— Вы что тут делаете? — спросил он.

— Да вот заскочили покурить, — кротко ответил Хват.

— Пили?

— После часу не пили.

— Выматывайтесь отсюда, да поживее! — приказал полицейский. И тут же: — Сядь! — отменил он предыдущий приказ.

Сдернул с Хвата шляпу и уставился на его лицо.

— Тебя зовут Мак-Манус?

— Не угадали, — сказал Хват. — И вовсе Петерсен.

— Хват Мак-Манус или что-то вроде этого, — сказал полицейский. — Ты неделю назад пырнул одного парня в салуне Немчуры Майка.

— Да бросьте, — сказал Хват, уловив нотку сомнения в голосе полицейского. — Вы обознались, спутали меня с кем-то другим.

— Обознался? А ну, пошли со мной, пусть на тебя еще в участке поглядят. Описание подходит к тебе точь-в-точь. — Полицейский запустил руку за воротник Хвата.

— Вставай! — заорал он.

Хват плюнул на Руби. Она побледнела, ее тонкие ноздри трепетали. Пока мужчины разговаривали, ее быстрый взгляд то и дело перебегал с одного на другого. Надо же такое невезенье, думал Хват, чтоб Корригэн прохладился на морях, а он в одночасье и свел знакомство с Руби, и потерял ее! В участке его как пить дать опознают. Вот невезенье так невезенье!

Но тут девушка вскочила и что было сил толкнула полицейского обеими руками. Тот выпустил воротник Хвата и попятился.

— Полегче на поворотах, Мэгуайр! — злобно завизжала она. — Убери свои грязные лапы от моего парня! Ты меня знаешь и знаешь, что я тебе плохого совета не дам. Не смей его трогать! Тебе не он нужен — за него я ручаюсь!

— Слушай, Фанни, — сказал полицейский, багровый от злости. — Ты потише, не то мне недолго и тебя замести. Тебе-то откуда известно, что мне другой нужен? И чего, кстати, ты с ним тут делаешь?

— Откуда мне известно? — сказала девушка, то вспыхивая, то бледнея. — Да я с ним, почитай, год, как путаюсь. Это ж мой сожитель. Кому и знать его, как не мне. Что, по-твоему, я с ним тут делаю? Мог бы догадаться.

Она наклонилась и, взметнув юбками, сунула руку под чернотиловый ворох оборок. Щелкнула подвязка, и на стол перед Хватом шлепнулась мягкая пачка денег. Купюры лениво, как бы нехотя, распрямлялись одна за другой.

— Прячь монету, Джимми, и пошли, — сказала девушка. — Сдаю выручку, Мэгуайр, — объявила она полицейскому. — А ты получил свои всегдашние пять долларов на всегдашнем углу в десять.

— Врешь! — взревел полицейский, наливаясь кровью. — Теперь попадись мне только на моем участке, враз загремишь в кутузку.

— Кишка у тебя тонка, — сказала девушка. — И знаешь, почему? Когда я тебе давала на лапу и сегодня и на прошлой неделе, тому были свидетели. Так что лучше заткнись.

Хват бережно спрятал деньги в карман.

— Пошли, Фанни, — сказал он, — надо еще перекусить перед тем, как идти домой.

— Выметайтесь-ка отсюда оба, да поживее, не то я... — Угрозы завершились невнятным бормотаньем.

На углу улицы они остановились. Хват молча отдал девушке деньги. Девушка не спеша опустила их в сумочку. На лицо ее вернулось то же выражение, с каким она входила сегодня к Руни, — она вновь взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением.

— Похоже, я могу попрощаться с тобой прямо здесь, — сказала она уныло. — Ты уж, конечно, не захочешь больше встречаться со мной. Ну как, давай пожмем руки, мистер Мак-Манус?

— Я б ни в жизнь не смекнул, если б ты не раскололась, — сказал Хват. — Зачем ты это сделала?

— Иначе б тебя как пить дать замели. Вот зачем. Это тебе не причина? — Из глаз девушки покатались слезы. — Ей-ей, Эдди, я хотела стать такой хорошей, что лучше не бывает. Мне опостылела моя жизнь, опостылели мужчины, мне хотелось умереть, и тут я встретила тебя. Мне показалось, что ты не такой, как все. А когда я увидела, что я тебе тоже понравилась, я подумала: вотру-ка я ему очки, прикинусь хорошей, а потом и впрямь стану хорошей. А когда ты сказал, что придешь ко мне домой, да после такого я б скорей умерла, чем пошла бы на плохое. Но что толку говорить? Так что, если хочешь проститься, давай простимся, мистер Мак-Манус.

Хват подергал себя за ухо.

— Это я порезал Малони, — сказал он. — И полиция искала не кого другого, а аккурат меня.

— Да ладно, — сказала девушка безучастно. — Это мне без разницы,

— И потом насчет Уолл-стрита тоже все вранье. Я ошиваюсь с одной шайкой в Ист-Сайде, и других занятий у меня не имеется.

— Да ладно, — повторила девушка. — Это мне тоже без разницы.

Хват приосанился, сбил котелок на лоб.

— Я б, пожалуй, мог устроиться к О'Брайену, — сказал он вслух, но как бы для себя.

— Прощай, — сказала девушка.

— Пошли, — сказал Хват. — Я знаю одно местечко тут поблизости.

Через два квартала они остановились у красного кирпичного особняка, выходящего в небольшой парк.

— Это что за дом? — спросила девушка, пятясь. — Чего тебе там понадобилось?

С одной стороны парадной двери в ярком свете фонаря блестела медная табличка. Хват решительно потащил девушку вверх по ступенькам.

— Читай! — сказал он.

Девушка прочла надпись на табличке и испустила нечто среднее между стоном и воплем.

— Нет, нет, Эдди! Боже мой, только не это! Я не хочу, я не пойду, нет, нет! Отпусти меня! Нет, ты этого не сделаешь! Ты не можешь... Тебе нельзя!.. Теперь, когда ты все знаешь! Нет, ни за что! Уйдем отсюда скорее! О господи, да идем же, Эдди, прошу тебя, идем!

У нее закружилась голова, она пошатнулась, но Хват успел ее поддержать. Он нашарил правой рукой кнопку звонка и с силой нажал на нее.

Другой полицейский — прямо диву даешься, какой у них нюх на беспорядки! — проходя мимо, увидел нашу парочку и взбежал по ступенькам.

— Эй! Ты что это себе позволяешь с девушкой? — сердито окликнул он Мак-Мануса.

— Да она через минуту придет в себя, — сказал Хват. — Ей-ей, у нас тут все честь по чести.

— «Преподобный Иеремия Джонс», — прочел полицейский надпись на табличке: чутье сыщика направило его по верному следу.

— Так точно, — сказал Хват. — Он нас сейчас обвенчает, ей-же-ей.

Искатели приключений

Перевод под ред. В. Азова.

Omne mundus in duas partes divisum est — на людей, которые носят галоши и платят налоги, и на людей, которые открывают новые страны. Теперь нет больше неоткрытых стран; но к тому времени, когда галоши выйдут из моды и налоги превратятся в подоходные, вторая часть рода человеческого будет уже на Марсе и начнет прокладывать параллельно его каналам радиотрамваи.

В словарях счастье, случай и приключение выдаются за синонимы. Но для знающих людей каждое из этих слов имеет различное значение. Счастье — это приз, которого нужно добиваться. Приключение — дорога, ведущая к нему. Случай — это то что подчас маячит из тени по краям дороги. У Счастья лицо лучезарное и манящее; у Приключения — раскрасневшееся и дышащее героизмом. Лицо Случая — прекрасный лик, прекрасный потому, что он смутное порождение мечты; мы видим его у себя в чашке чаю, когда мы сидим за завтраком и ворчим, поедая котлетки и поджаренный хлеб.

Искатель приключений — это тот, который все время поглядывает на заборы и пригородные рощи и луга, пока он идет по пути к счастью. В этом и заключается разница между ним и авантюристом. Вкусить от запретного плода значило побить все рекорды в области искания приключений. Пытаться доказать, что это действительно произошло, — величайший авантюризм. Но быть тем или другим — значит вносить беспорядок в космогонию творения. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане, и наши имена имеются даже во «Всемирном Нью-Йорке». Так закурим трубки, побраним детей и кота, устроимся в плетеной качалке на самом прохладном месте у окна под мерцающим газовым рожком и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за Случаем.

— Слыхали ли вы этот анекдот про одного приезжего с Запада? — спросил Биллинггер.

Дело происходило в маленькой, выложенной темным дубом комнатке налево, у самого входа в Похатан-клуб.

— Наверное, слышал, — сказал Джон Реджинальд Форстер, встал и вышел из комнаты.

Форстер взял из рук мальчика в гардеробной свою соломенную шляпу и вышел на воздух. Биллингер привык к пренебрежительному отношению к своим анекдотам и не обидится. Форстер находился в своем излюбленном настроении, и ему хотелось уйти отовсюду. Чтобы быть довольным собой, человеку необходимо услышать подтверждение своих мнений и видеть подходящее настроение у кого-нибудь другого.

Излюбленное настроение Форстера состояло в том, что на него находило страстное желание стать в ряды охотников за Случаем.

Он был по природе искателем приключений, но приличия, происхождение, традиции и суживающее горизонт влияние манхеттенского племени лишали его возможности развернуться вовсю. Он исследовал все избитые тропы и даже большинство боковых тропинок, которые, по всеобщему убеждению, скрашивают скуку жизни. Но ему все было мало. Причина этого крылась в том, что он знал, что он найдет в конце каждой улицы. Опыт и логика предсказывали ему с почти абсолютной точностью, чем должно закончиться всякое отступление от рутины. Он находил удручающую монотонность во всех вариациях, которые музыка сфер разыгрывала на мелодию жизни. Он еще не знал той истины, что хотя наш мир и круглый, однако произведена квадратура этого круга, и настоящий интерес кроется в том, «что находится за ближайшим углом».

Форстер вышел из Похатана и пошел бесцельно вперед, стараясь не утруждать свой ум или желания мыслью о тех улицах, по которым он шел. Он был бы рад заблудиться, будь это возможно; но на это не было никакой надежды. В великой столице приключения и счастье готовы спуститься вам на ладонь, если вы только поманите их пальцем. Случай — восточная женщина. Это закутанная в чадру особа, разъезжающая в паланкине и охраняемая эскадрой драгоманов. Мы можем пересечь весь город, отправиться в центр, бродить по окраинам и все-таки не встретиться с ней.

Побродив около часу, Форстер очутился на углу широкого, гладко вымощенного проспекта и начал с сокрушением глядеть на

живописную старинную гостиницу, всю залитую каким-то мягким светом. Он глядел с сокрушением, ибо знал, что ему нужно пообедать, а обед в этой гостинице не был приключением. Это был один из его любимых караван-сараев; блюда подавались там так быстро и бесшумно, еда была так изысканна и хорошо приготовлена, что он жалел о своем голоде, который ему предстояло утолить «абсолютно совершенной» кухней этого ресторана. Даже музыка, казалось, всегда играла там «da capo».

Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешевом, даже подозрительном ресторане подальше от центра, где заезжие из всех стран мира повара предлагают свои национальные блюда всеядному американцу. Быть может, там произойдет что-нибудь выходящее из ряда повседневной рутины: он найдет подлежащее без сказуемого, дорогу без конца, вопрос без ответа, причину без следствия, какой-нибудь Гольфстрим в горько-соленом море жизни. Он не успел переодеться во фрак; на нем был темный утренний костюм, который не вызовет удивления даже там, где лакеи подают макароны в одних рубашках и жилетах.

И Джон Реджинальд Форстер начал искать у себя в кармане деньги: известно, что, чем дешевле обед, тем необходимее за него заплатить. Он тщательно обыскал все тринадцать — больших и малых — карманов своего костюма и не нашел ни гроша. Книжка его текущего счета указывала, что в его распоряжении имеется сумма в пять цифр, но...

Форстер заметил вдруг какого-то человека, который стоял слева от него и, несомненно, смотрел на него с веселым интересом. У него была наружность обыкновенного делового человека; он был аккуратно одет и стоял точно в ожидании трамвая. Но по этому проспекту трамваи не ходили и потому его близость и явное любопытство показались Форстеру несколько нескромными. Но так как он упорно искал того, «что находится за углом», он не выказал раздражения, а только ответил на веселую усмешку незнакомца полусконфуженной улыбкой.

— Ни черта? — спросил нескромный господин, подходя ближе.

— Похоже на то, — сказал Форстер. — А ведь мне казалось, что у меня был доллар в...

— Знаю, знаю, — смеясь, ответил тот. — Но его не было. Я сам только что проделал эту же самую процедуру, когда заворачивал за угол. Я нашел в боковом кармане пиджака, — не знаю, как они туда попали, — ровно два медяка. Вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно за два медяка?

— Так вы не обедали? — спросил Форстер.

— Нет, но мне хотелось бы пообедать. Вот что, я хочу вам предложить одну вещь. По вашему виду мне кажется, что вы согласитесь. Вы одеты чисто и аккуратно. Простите за это касающееся вашей личности замечание. Я думаю, что и мое платье выдержит цензуру метрдотеля. Давайте пойдемте вон в ту гостиницу и пообедаем вместе. Выберем лучшие блюда из меню, точно мы миллионеры или, если вам больше нравится, как небогатые люди, решившие хоть раз в жизни роскошно пообедать. Когда мы кончим, мы разыграем в орла или решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия — Айвз. Мне кажется, что покуда наши деньги не улетели в трубу, мы с вами занимали одинаковое положение в обществе.

— Идет! — с радостью сказал Форстер.

Наконец-то ему предстоит приключение на границе таинственной страны, где царит Случай! Во всяком случае, это сулило нечто более интересное, чем приевшаяся тоска табльдота. Вскоре оба сидели за столом в углу ресторана. Айвз кинул Форстеру через стол один из своих медяков.

— Подкиньте. Разыграем, кому заказывать, — сказал он.

Проиграл Форстер.

Айвз рассмеялся и начал называть лакею разные напитки и кушанья с задумчивой, но уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть не с рождения разбираться в меню. Форстер слушал и с восторгом одобрял его выбор.

— Я — один из тех, — сказал Айвз за устрицами, — которые всю жизнь ищут романа с «продолжением в следующем номере». Я не обыкновенный авантюрист, кидающийся за определенной добычей. Я также и не игрок, знающий, что он или проиграет, или выиграет определенную ставку. Мне хочется другого — наткнуться на приключение, конца которого я не в состоянии предвидеть. Бросать вызов Судьбе в самых слепых ее проявлениях — вот что мне

необходимо, как воздух. Наш мир вертится, всецело подчиняясь рутине и притяжению, и теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы найдете в конце ее. Я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать; я хочу играть втемную.

— Понимаю, — с восторгом сказал Форстер. — Мне часто хотелось, чтобы кто-нибудь выразил мое собственное чувство словами. Вы именно это сделали. Я иду на риск — пусть будет что будет. А не потребовать ли нам бутылку мозельвейна?

— Согласен, — сказал Айвз. — Я рад, что вы уловили мою мысль. Это усилит враждебное отношение ресторана к проигравшему. Если вам не надоело, давайте продолжать нашу тему. Настоящих искателей приключений я встречал очень редко, я говорю — настоящих, которые, отправляясь в путь, не требуют от судьбы предварительной сметы и карты местности. Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее встретиться с приключением, конца которого нельзя было бы предвидеть. В век Елизаветы можно было нападать на патрули, отрывать молотки от чужих дверей, драться на рапирах в любом укромном уголке за выступом стены. В наши дни, если вы обругаете полицейского, вам остается угадать лишь одно: в какой именно участок он вас отведет.

— Знаю, знаю, — сказал Форстер, одобрительно кивая головой.

— Сегодня я вернулся в Нью-Йорк, — продолжал Айвз, — после трехлетнего путешествия по всей земле. И за границей дело обстоит не лучше, чем у нас дома. Весь мир, по-видимому, во власти логического умозаключения. А меня сильно интересует лишь одно: совершенно новая предпосылка. Я пробовал охотиться в Африке за крупную дичью. Я знаю, что может сделать автоматическая винтовка на известном расстоянии; а когда слон или носорог падает от пули, мне это доставляет приблизительно такое же удовольствие, как в детстве, когда меня оставляли в школе после уроков и заставляли решать задачи на доске.

— Знаю, знаю, — сказал Форстер.

— Аэропланы, пожалуй, могут что-нибудь дать, — задумчиво продолжал Айвз. — Я пробовал подниматься на воздушном шаре, но, кажется, все дело в правильном расчете ветра и балласта.

— А женщины? — с улыбкой подсказал Форстер.

— Три месяца назад, — сказал Айвз, — я таскался по базару в Константинополе. Я обратил внимание на одну особу, которая разглядывала какие-то украшения из янтаря и жемчуга у одного из ларьков. Она, разумеется, была под чадрой, но из-под нее виднелись необычайно красивые глаза. Ее сопровождал слуга, рослый, черный как смоль нубиец. Вскоре негр начал незаметно ко мне приближаться и сунул мне в руку бумажку. Как только мне удалось это сделать, я развернул ее. Там было написано карандашом, торопливым почерком: «Сегодня вечером в девять — Соловьиный сад — ворота с аркой». Не кажется ли это вам интересной новой предпосылкой, мистер Форстер?

— Продолжайте, — с увлечением сказал Форстер.

— Я навел справки и узнал, что Соловьиный сад принадлежит какому-то старому турку — великому визирю или что-то в этом роде. Нечего и говорить, что я направился к воротам с аркой и прибыл туда к девяти. В назначенное время тот же слуга-нубиец быстро открыл ворота; я вошел в сад и уселся на скамье близ благоухающего фонтана рядом с дамой в чадре. Проболтали мы довольно долго. Она оказалась журналисткой Мэртль Томпсон и изучала гаремы по поручению чикагской газеты. Она сказала, что там, на базаре, заметила чисто нью-йоркский покрой моего платья.

— Понимаю, — сказал Форстер, — понимаю.

— Я изъездил всю Канаду на лодке, — сказал Айвз, — переплывал через пороги и водопады, но опять-таки это меня не удовлетворяло, потому что я знал, что есть два возможных исхода: или я утону, или же выплыву на поверхность. Я играл в карты во все азартные игры, но математики испортили это развлечение: они вычислили процент вероятности выигрыша и проигрыша. Я завязывал знакомства в поездах, я ходил по объявлениям, я звонил в незнакомые дома. Я пользовался всякой случайностью, которая только мне представлялась, но всегда наступал трафаретный конец — логическое заключение, вытекающее из предпосылок.

— Знаю, — повторил Форстер. — Я все это испытал. Но у меня мало было «случайно случившихся» случаев. Есть ли другой город в мире, в котором бы так отсутствовал элемент невозможного? Кажется, будто есть мириады случаев окунуться в неопределенное, но ни один из тысячи не приведет вас туда, куда вы совсем не ожидали попасть.

Желал бы я, чтобы и с подземными поездами и трамваями так же редко происходили недоразумения.

— Солнце уже взошло, — сказал Айвз, — и разогнало мрак тысячи и одной ночи. Нет больше калифов. Бутылка рыбака превратилась в термос с гарантией, что любой дух может сохраниться в нем в течение двух суток горячим или холодным. Жизнь движется рутиной. Наука убила приключение. Нет больше тех случайностей, которые испытывали Колумб или человек, первым начавший есть устриц. Верно лишь одно, что нет ничего неверного.

— Видите ли, — сказал Форстер, — я испытал лишь те переживания, которые доступны жителю столицы, а круг их весьма ограничен. Я не видал света, как вы, но, по-моему, мы смотрим на него с одинаковой точки зрения. Говорю вам, что я благодарен даже за это наше маленькое приключение, граничащее со случайностью. Быть может, будет хоть один момент, когда я затаю дыхание: когда представят счет за обед. Пожалуй, пилигримы, путешествовавшие без документов и без кошелька, в конце концов более остро наслаждались жизнью, чем рыцари Круглого Стола, разъезжавшие со свитой и с заверенными чеками короля Артура в подкладке шлемов. А теперь, если вы кончили пить кофе, давайте разыграем, на кого должен обрушиться предстоящий нам удар Судьбы. Ну, что вы загадали?

— Решка, — объявил Айвз.

— Верно, — сказал Форстер, поднимая руку. — Я проиграл. Мы забыли выработать план, чтобы выигравший мог скрыться. Предлагаю вам, когда подойдет лакей, вскользь заметить, что вам нужно кому-нибудь позвонить. Я буду удерживать позицию и задержу счет некоторое время, чтобы вы успели взять пальто и шляпу и уйти. Благодарю вас за вечер, выходящий из ряда обыкновенных, мистер Айвз. Я желал бы, чтобы он повторился.

— Если память мне не изменяет, — сказал, смеясь, Айвз, — ближайший полицейский участок находится на Мандель-стрит. Поверьте, что и мне наш обед доставил большое удовольствие.

Форстер нажал кнопку. Лакей приблизился к столу, словно подтянутый невидимой резинкой, и положил счет, лицом вниз, рядом с чашкой проигравшего. Форстер взял счет и начал тщательно проверять итог. Айвз удобно откинулся на спинку стула.

— Простите, — сказал Форстер, — но вы, кажется, собирались позвонить Граймзу насчет театра в четверг? Вы разве забыли?

— Ну, — сказал Айвз, усаживаясь еще удобнее, — это я могу и потом сделать. Человек, принесите мне стакан воды.

— Хотите видеть травлю зверя, а? — спросил Форстер.

— Надеюсь, что вы ничего не имеете против, — сказал Айвз умоляющим голосом. — Я никогда в жизни не видал, как арестовывают в ресторане джентльмена, пообедавшего на шармачка.

— Ну, что же, — спокойно сказал Форстер. — Вы имеете право вместо рюмки коньяку угоститься зрелищем христианина, умирающего на арене.

Официант принес воду и остался у стола с непринужденным видом неумолимого сборщика податей.

Секунд пятнадцать Форстер колебался, затем он вынул из кармана карандаш и нацарапал на счете свою фамилию. Лакей поклонился и унес его.

— Дело в том, — сказал Форстер, улыбаясь несколько сконфуженно, — я, очевидно, не «настоящий спортсмен», что равносильно «искателю приключений». Мне придется сделать вам признание: я уже больше года обедаю в этой гостинице раза два-три в неделю и всегда подписываю счета.

И затем он добавил с оттенком благодарности:

— Очень мило все-таки с вашей стороны, что вы остались при мне до конца, хотя вы знали, что у меня нет денег и что вас могли бы забрать в полицию заодно со мной.

— Видимо, и мне придется признаться, — сказал Айвз, широко улыбаясь. — Я владелец этой гостиницы. Разумеется, я не управляю ею лично, но всегда держу для себя номер в третьем этаже на случай, когда я ночую в городе.

Он подозвал лакея и сказал:

— Что, мистер Гильмор еще в конторе? Отлично. Передайте ему, что мистер Айвз здесь, и попросите его распорядиться, чтобы мои комнаты были убраны и проветрены.

— Еще одно рискованное приключение, прерванное неизбежностью, — сказал Форстер. — Нет ли в следующем номере загадки без ответа? Но вернемся, если вы ничего не имеете против, к нашей прежней теме минуты на две. Мне не так уж часто приходится

встречаться с человеком, которому было бы понятно, какой недостаток я нахожу в жизни. Через месяц будет моя свадьба.

— Воздерживаюсь от комментариев, — сказал Айвз.

— Правильно. Я кое-что добавлю к моему заявлению. Я всей душой люблю «ее», но я все-таки никак не могу решить, ехать ли мне с нею в церковь или же дернуть без нее на Аляску? Это то же самое, о чем мы с вами только что рассуждали: брак — конец всяких приключений. Всем нам известна ежедневная рутина; после утреннего завтрака вы получаете поцелуй, пахнувший цейлонским чаем; затем вы отправляетесь в контору, возвращаетесь домой и переодеваетесь к обеду; два раза в неделю театр... счета... по вечерам большей частью тоска и попытки поддержать разговор... иногда легкая ссора, может быть, даже как-нибудь и крупная, с разводом, или же успокоение в мирном довольстве среднего возраста, что, пожалуй, хуже всего.

— Понимаю, — с знающим видом кивнул Айвз.

— Меня заставляет колебаться, — продолжал Форстер, — именно эта убийственная уверенность во всем. После этого уже ничего не найдешь «за ближайшим углом».

— После церкви ничего, — сказал Айвз. — Знаю.

— Поймите, — сказал Форстер, — что у меня нет ни малейшего сомнения относительно моего чувства к «ней». Могу сказать, что я искренно, глубоко люблю ее. Но в крови, которая течет по моим жилам, есть что-то, громко протестующее против заранее вычисленных формул всякого рода. Я не знаю, чего именно мне хочется. Я знаю только, что мне этого хочется. Я, наверное, говорю невероятные плузости, но сам я понимаю, что хочу сказать.

— Я вас понимаю, — сказал Айвз, медленно улыбаясь. — Ну-с, я теперь, кажется, пройду к себе в номер. Был бы очень рад, мистер Форстер, если бы вы согласились как-нибудь пообедать со мной здесь в один из ближайших дней.

— В четверг? — предложил Форстер.

— В семь, если вам удобно, — ответил Айвз.

— Идет, — согласился Форстер.

В половине девятого Айвз взял извозчика и подъехал к дому на одной из чопорных Семидесятих улиц в западной части города. По предъявлении карточки он был введен в приемную старинного дома,

куда ни разу не осмеливался проникнуть дух Риска, Случайности и Приключения. На стенах висели картины — nature morte, Уистлер, грёзовская головка. Это был настоящий домашний очаг. На столе лежал альбом из сафьяна с украшениями из оксидированного серебра по углам. Часы на камине громко тикали и издавали предупреждение, когда стрелка показывала без пяти девять. Айвз с любопытством посмотрел на них и вспомнил, что у его бабушки тоже были часы с таким предупредителем.

И затем по лестнице сошла Мэри Марсен и вошла в комнату. Ей было двадцать четыре года; наружность ее я предоставляю вашему воображению. Но я должен сказать одно: молодость, здоровье, красота, мужество и зеленовато-фиалковые глаза, все это очень красиво, а она обладала всем этим. Она протянула Айвзу руку с милым сердечным выражением, говорившим о давнишней дружбе.

— Вы не можете себе представить, — сказала она, — как мне приятно, когда вы заходите — хотя бы раз в три года.

Беседа длилась полчаса. Признаюсь, что передать их разговор я не могу. Возьмите любой роман из ближайшей библиотеки, и вы найдете его там. Когда все такое было сказано, Мэри сказала:

— Ну, что же, нашли вы за границей то, что искали?

— Что я искал? — сказал Айвз.

— Ну, да. Ведь у вас всегда были какие-то странности. Еще мальчиком вы никогда не хотели играть в шарики или в бейсбол или вообще в игры, где есть правила. Вы любили нырять в воду, когда вы не знали, какая там глубина — десять дюймов, или десять футов. И потом, став взрослым, вы не изменились. Мы часто удивлялись вашим странностям.

— Я, вероятно, неисправим, — сказал Айвз. — Я противник учения о предопределении, тронного правила, закона притяжения и всяких тому подобных вещей. Жизнь всегда казалась мне романом с продолжением, который печатается в журнале, но только в каждом номере печатают краткое содержание не предыдущих, а последующих глав.

Мэри весело расхохоталась.

— Боб Эмз как-то рассказал нам, — объявила она, — про один забавный ваш поступок. Это было на юге. Вы ехали в поезде и вылезли в каком-то городе, где вовсе не намеревались

останавливаться, и все потому, что кондуктор вывесил в вагоне название следующей станции.

— Помню, — сказал Айвз. — Вот эта самая «следующая станция» именно то, от чего я всю жизнь старался уйти.

— Знаю, — сказала Мэри. — И вы много глупостей наделали. Надеюсь, что вы не нашли того, чего не хотели найти, и что вы не пробовали вылезать на остановке, когда и остановки-то никакой не было, и что с вами за ваше трехлетнее отсутствие не случилось всего, чего вы ожидали.

— До моего отъезда у меня было одно желание, — сказал Айвз.

Ясные глаза Мэри смотрели прямо в его глаза; она слегка улыбнулась нежной улыбкой.

— Да, было, — сказала она. — Вы хотели, чтобы я была вашей. И вы могли добиться своего, вы сами это знаете.

Айвз, не отвечая, медленно оглядел комнату. В ней не произошло никаких перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз, — три года тому назад. Он ясно припомнил, о чем он тогда думал. Обстановка этой комнаты, казалось, была так же вечна, как вечны горы. Здесь не могло произойти никаких перемен, кроме тех, которые производит разрушительное время. Этот оправленный в серебро альбом всегда будет лежать на определенном месте на столе, эти картины всегда будут висеть там же на стенах, эти стулья всегда окажутся на своих местах — и утром, и днем, и ночью, пока дом будет существовать. Медный каминный прибор — это памятник, воздвигнутый в честь порядка и неизменности. Кое-где лежали столетние реликвии, которые все еще были дороги и долго еще будут дороги кому-то по воспоминаниям. Тот, кто шел в этот дом, мог не сомневаться и не строить предположений. Он найдет там лишь то, что оставил, и оставит лишь то, что нашел. Случайность — эта женщина под покрывалом — никогда не поднимет руку, чтобы постучаться в двери этого дома.

Перед ним сидела девушка, составлявшая часть этой комнаты, уравновешенная, милая, постоянная. Она не сулила ничего неожиданного. Можно было прожить с ней целую жизнь и не заметить перемены в ней, хотя бы она поседела и покрылась морщинами. Три года Айвз провел вдали от нее, и она все-таки ждала его, постоянная и неизменная, как самый дом. Он был убежден в том,

что она когда-то любила его. Именно уверенность, что это всегда так будет, и заставила его уехать. Вот какие мысли бродили у него в голове.

— Я на днях выхожу замуж, — сказала Мэри.

* * *

В следующий четверг Форстер второпях заехал днем в гостиницу к Айвзу.

— Послушайте, старина, нам придется отложить наш обед на год или больше; я еду за границу. Пароход отправляется в четыре. Наш разговор на днях произвел на меня большое впечатление и заставил меня решиться. Я хочу потолкаться по миру и отделаться от этого гнета, который давит и меня и вас, — от этого ужаса заранее знать, что должно произойти. Я сделал одну вещь, за которую меня слегка мучает совесть; но я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Я написал моей невесте и все ей объяснил, — откровенно сказал, почему я уезжаю, — сказал, что я не сумею примириться с однообразием семейной жизни. Как по-вашему, правильно ли я поступил?

— Не мне судить об этом, — сказал Айвз. — Валяйте, поезжайте охотиться на слонов, если вы думаете, что это внесет элемент случайности в вашу жизнь. В таких случаях каждый должен решать за себя. Но я хочу вам сказать лишь одно, Форстер: я нашел свой путь, я открыл самую азартную в мире игру — игру рискованную, которой нет конца, приключение, которое может закончиться седьмым небом или темнейшей пропастью ада. Человек, отдавшийся ей, должен быть начеку всю жизнь, пока не захлопнется над ним крышка гроба, ибо он никогда не будет «знать» — до последнего дня своего, — и даже тогда ничего не узнает. Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте. Я нашел приключение. Не беспокойтесь о том, что вы покинули Мэри Марсен, Форстер. Я обвенчался с нею вчера в полдень.

Поединок

Перевод под ред. М. Лорие.

Боги-олимпийцы, подкрепляясь нектаром и выглядывая из-за гребня своей горы, видят разницу между городами. Казалось бы, все города должны представляться им только большими или меньшими муравейниками, без каких бы то ни было индивидуальных различий. Но это не так. Изучать привычки муравьев с такой высоты вряд ли очень интересно, особенно когда можно наслаждаться напитком, который, если верить мифологии, составляет единственную отраду обитателей Олимпа. Но им, очевидно, нравится сравнивать между собой города и деревни, и для них (как, может быть, и для многих смертных) не будет новостью, что в одном отношении Нью-Йорк стоит особняком среди всех городов мира. Это и будет темой маленького рассказа, посвященного мужчине, который сидит и курит, положив ноги в домашних туфлях на другой стул, и женщине, которая хватается журнал, улучив минуту, когда кипящие на плите овощи или усыпленный наркотиками младенец не требуют ее внимания. С такими, как они, я люблю сидеть на земле, печальные рассказывая были о том, как умирают короли^[43].

Нью-Йорк населяют четыре миллиона таинственных чужестранцев. Они попали сюда разными путями и по разным причинам: Гендрик Гудзон^[44], школы живописи, овощные рынки, аист, ежегодный съезд портных, Пенсильванская железная дорога, жажда наживы, сцена, дешевый экскурсионный тариф, мозги, брачная газета, тяжелые ботинки, честолюбие, товарные поезда — все это принимало участие в создании населения Нью-Йорка.

Но всякий, кто впервые ступает на улицы Манхэттена, должен дать бой. Он должен дать бой немедленно и драться до тех пор, пока либо он, либо его противник не одержит победы. Тут нет отдыха между раундами, потому что никаких раундов нет. Тут сразу пускаются в ход кулаки. Это бой на результат.

Ваш противник — город. Вы должны биться с ним с той минуты, как паром спустил вас на берег, и либо завоевать его, либо стать его

рабом. И совершенно все равно, миллион ли у вас в кармане, или только сумма, достаточная для оплаты недельного счета в гостинице.

Бой должен решить, сделались ли вы ньюйоркцем или превратились в последнего из чужеземцев и провинциалов. Другого выбора нет. Остаться нейтральным нельзя. Нужно быть за или против, влюбленным или врагом, закадычным другом или отверженным. И город умеет бороться. Он старается сокрушить вас не только ударами. Он притягивает вас к своему сердцу с коварством сирены. Этот город — комбинация из Далилы, зеленого шартреза, Бетховена, хлоралгидрата и Джона Л.^[45] в лучшую его пору.

В других городах вы можете странствовать или жить чужаком сколько вам угодно. Вы можете прожить в Чикаго до глубокой старости и числиться в списках его граждан и все-таки воспеть бобы, если вас вскормил Бостон, и никто вам ничего не скажет. Вы можете стать столпом общества в любом другом городе и издеваться над его зданиями, сравнивая их со старинным домом полковника Телфэра в Джексоне, штат Миссури, где вы родились, и никто вас не тронет. Но в Нью-Йорке вы должны быть или ньюйоркцем, или варваром, вторгшимся в эту современную Троию и прячущимся в деревянном коне своего надутого провинциализма. И все это унылое предисловие было нужно лишь для того, чтобы представить вам двух скромных молодых людей — Уильяма и Джека.

Они вместе приехали с Запада, где были друзьями. Они приехали, чтобы отыскать в этом большом городе свое счастье.

Папаша Никербокер^[46] встретил их на пристани и двинул одного правой рукой в переносицу, а другого левой по скуле, дав им таким образом понять, что бой начался.

Уильяма влекла деловая карьера; Джека — искусство. Оба были молоды и честолюбивы. Они ответили ударом на удар и сжали кулаки. Кажется, они были из Небраски, а может быть, из Миссури или Миннесоты. Во всяком случае, они жаждали успеха, и борьбы, и денег, и они сцепились с городом, как два Локинвары, вооруженных кастетами и протекцией в городском управлении.

Через четыре года Уильям и Джек встретились за завтраком. Деловой человек ворвался в ресторан, как мартовский ветер, бросил свой цилиндр лакею, упал в пододвинутое ему кресло, схватил меню

и заказал все, кроме сыра, прежде чем художник успел кивнуть головой. Глаза художника засветились насмешливой улыбкой.

— Билли, — сказал он, — ты погиб. Город поглотил тебя. Он перекроил тебя на свой образец и поставил на тебе свою печать. Ты так похож на десять тысяч человек, которых я встретил сегодня, что отличить тебя можно только по меткам, которые делают в прачечной на твоём белье.

— ...и камамбер, — закончил Уильям. — В чем дело? А-а, ты все еще громишь Нью-Йорк? Ничего, мне этот старый Шуми-Городок-над-Подземкой очень подходит. Он мне дает то, что мне нужно. Я сам раньше думал, что Запад — это весь мир. Я орал до хрипоты о наших необозримых просторах и издевался над мелкими коммивояжерами с Востока. Но тогда я еще не знал Нью-Йорка, Джек. Я за Нью-Йорк — от подземки до крыш небоскребов. Теперь Запад для меня — Шестая авеню. Ты слышал, кстати, этого малого — Крузо^[47]? Я бы его сослал, подлеца, на необитаемый остров, да жена заставила меня пойти. Нет, мне подавай Мэри Ирвин и Уилларда^[48].

— Бедный Билли, — сказал художник, закуривая папироску. — Помнишь, как ты, по дороге сюда, говорил об этом великом волшебном городе и как мы собирались покорить его и даже мысли не допускали, чтобы он когда-нибудь взял верх над нами? Мы клялись, что навсегда останемся такими, какие мы есть, и не позволим городу одолеть нас. Город победил тебя, приятель. Ты превратился из мустанга в ломовую лошадь.

— Я не вижу, собственно, в чем дело, — сказал Уильям. — Да, я не ношу теперь в парадных случаях жизни куртку из альпака с голубыми штанами и полосатой жилеткой. Ты говоришь, что город перекроил меня на свой образец. Что ж, образец разве плох? По моему, все другие так называемые большие города — жалкие полустанки по сравнению с Нью-Йорком. Чикаго, Сент-Джо и Париж (Франция) — просто остановки, помеченные звездочкой. Поезд на них останавливается в неделю раз, и то только если помахать ему флажком. Я полюбил этот городишко, эту Стоп-Машину-на-Гудзоне. Тут ничего никогда не стоит на месте. Я зарабатываю восемь тысяч долларов продажей автоматических насосов и живу, как принц. Вчера, например, меня познакомили с Джоном Гейтсом^[49]. Я катался на автомобиле с сестрой одного комиссионера по винной части. Я видел,

как трамвай переехал двух человек, а вечером смотрел в театре Эдну Мэй. Толкуй о Западе. Я тут недавно ночью разбудил криком весь дом. Мне приснилось, что я иду по деревянному тротуару в Ошкоше. Что ты имеешь против этого города, Джек? Мне в нем только одна вещь не нравится — это паром.

Художник мечтательно смотрел на обои.

— Этот город — вампир, — сказал он. — Вампир, сосущий кровь страны. Если хочешь, это даже не вампир, а кровожадный идол, Молох, чудовище, которому красота, невинность и гений страны платят дань. Приезжая сюда, все мы принимаем вызов на поединок. Каждого новичка ждет схватка с этим Левиафаном. Ты погиб, Билли, а меня он не победит никогда. Я ненавижу его, как можно ненавидеть только грех, или заразу, или... работу иллюстратора в десятицентовых журналах. Я презираю самое его величие и могущество. Ни в каком другом городе я не видел таких бедных миллионеров, таких мелких великих людей, таких надменных нищих, таких пошлых красавиц, таких низких небоскребов, таких скучных развлечений. Тебя он поймал, старина, я же никогда не побегу за его колесницей. Он покрыт плянцем, как воротничок из китайской прачечной. Я мог бы примириться с городом, которым правит богатство, с городом, которым правит аристократия, но здесь у власти стоят самые темные, гнусные элементы. Эта грубость, претендующая на высокую культурность; эта низость, утверждающая свое могущество; эта узость, отрицающая все чужие ценности и добродетели! Дай мне чистый воздух и открытое сердце Запада: если бы я мог, я бы завтра же туда уехал.

— Тебе не нравится этот филе-миньон? — сказал Уильям, — Брось, что толку в том, что ты ругаешь город? Город отличный. От Гаррисбурга до салуна Томми О'Кифа в Сакраменто я нигде не мог бы продать ни одного автоматического насоса, а здесь я их продаю по двадцать штук в день. Ты видел Сару Бернар в «Андрю Маке»^[50]?

— Город погубил тебя, Билли, — сказал Джек.

— Ладно, — сказал Уильям. — В будущем году я покупаю себе домик на озере Ронконкома.

В полночь Джек открыл в своей комнате окно и подсел к нему. От того, что он увидел, у него захватило дыхание, хотя он видел все это

уже много раз.

Далеко внизу лежал город — фантастический пурпурный сон. Неравной высоты и формы дома были, как изломанные очертания скал, окаймляющих глубокие и капризные потоки. Одни напоминали горы, другие выстроились длинными, ровными рядами, как базальтовые стены пустынных каньонов. Таков был фон чудесного, жестокого, ошеломляющего, волшебного, рокового, великого города. Но в этот фон были врезаны мириады блестящих параллелограммов, и кругов, и квадратов, через которые струился свет разных цветов. И из этой пурпурной и фиолетовой глубины возникали, как душа города, звуки, и запахи, и трепеты, из которых слагается его жизнь. Поднималось дыхание необузданного веселья, любви, ненависти и всех страстей, какие ведомы человеку. Там, внизу, лежало все доброе и все злое, что можно собрать с четырех концов земли, чтобы просветить, обрадовать, увлечь, обогатить, отнять последнее, возвысить, бросить в грязь, насытить или убить. Так аромат и вкус города поднялся к Джеку и проник в его кровь.

Раздался стук в дверь. Джеку принесли телеграмму. Она пришла с Запада, и текст ее гласил: «Возвращайся домой, я согласна. Долли».

Он заставил мальчика подождать десять минут, а потом написал ответ: «Сейчас приехать не могу». Потом он опять сел у окна, и город снова поднес к его устам чашу мандрагоры.

В общем, это даже не рассказ; но мне захотелось узнать, который из моих героев победил в борьбе с городом. А поэтому я пошел к одному очень ученому своему другу и изложил ему обстоятельства этого дела. Вот что он сказал: «Не надоедайте мне, пожалуйста. Мне надо идти покупать рождественские подарки».

Тем дело и кончилось; и вам уж придется решать самим.

«Кому что нужно»

Перевод Т. Озерской.

Ночь опустилась на большой, красивый город, что зовется Багдад-над-Подземкой, и на крыльях ночи слетели на него колдовские чары, которые не составляют монополии одной только Аравии. Улицы, базары и обнесенные стенами дома этого западного аванпоста романтики населял — хотя и в другом обличье — не менее занятный люд, чем тот, что весьма занимал когда-то нашего старинного приятеля Г. А. Рашида. Одежды носили уже не те, какие видел покойный Г. А. на улицах Багдада, а ровно на одиннадцать столетий ближе к последнему крику моды, но люди-то под одеждой почти не изменились. Поглядите вокруг оком веры, и на каждом углу вам может встретиться и Маленький Горбун, и Синдбад-Мореход, и Мешковат Портной, и Прекрасный Персианин, и Одноглазые Дервиши, и Али-Баба с Сорока Разбойниками, не говоря уже о Цирюльнике и его Шести Братьях, — словом, вся как есть старая арапская шайка.

Но вернемся к нашим бараньим котлетам.

Старый Том Кроули был калиф. Он владел сорока двумя миллионами долларов в самых солидных, привилегированных акциях. В наши дни, чтобы называться калифом, нужно иметь деньги. Калифствовать по старинке, как мистер Рашид, теперь небезопасно. Попробуйте-ка пристать к какому-нибудь обывателю на базаре, или в турецкой бане, или просто в переулке и начать дознаваться о состоянии его личных дел! И охнуть не успеете, как уже будете стоять перед полицейским судом.

Старому Тому осточертели театры, клубы, обеды, приятели, музыка, деньги и вообще все на свете. Так и создаются калифы: вы должны почувствовать отвращение ко всему, что можно купить за деньги, выйти на улицу и постараться пожелать чего-нибудь такого, что не продается и не покупается.

«Пойду-ка я прогуляюсь один по городу, — подумал старина Том. — Погляжу, не удастся ли откопать что-нибудь новенькое. Стоп! Я, кажется, читал, что в стародавние времена какой-то король, или

великан Кардифф, или еще кто-то в этом роде имел привычку расхаживать по улицам, нацепив фальшивую бороду, и заговаривать на восточный манер с людьми, которым он не был представлен. Тоже неплохая идея. Знакомые-то все надоели до смерти, хандра от них заела. Старый Кардифф, помнится, норовил выбирать тех, кто попал в беду. Как нарвется на таких, сейчас даст им золота — цехины, что ли, — и заставит пожениться или сунет на тепленькое местечко в каком-нибудь департаменте. Вот бы и мне надо что-нибудь такое отмочить. Мои деньги ничуть не хуже, чем его, хотя журналы и допытываются из месяца в месяц, как да откуда я их добываю. Да, надо будет сегодня же вечером провести эту кардиффскую операцию. Посмотрим, что получится».

Одевшись попроще, старый Том Кроули покинул свой дворец на Мэдисон-авеню и взял курс на запад, а потом свернул к югу. В ту минуту, когда его нога ступила на тротуар, Судьба, которая держит в руках все нити и управляет из своей главной конторы жизнью очарованных городов, потянула за какой-то кончик, и в двадцати кварталах от старого Тома некий молодой человек плянул на стенные часы и надел пиджак.

Джеймс Тэрнер работал в одном из тех маленьких предприятий на Шестой авеню, где колокольчик поднимает отчаянный трезвон, когда вы отворяете дверь, и где чистят шляпы «в присутствии заказчика»... двое суток. Джеймс целый день стоял у электрической машины, которая кружила головные уборы быстрее, чем лучшее шампанское кружит головы. Снисходя к проявленному вами неуместному любопытству в отношении наружности незнакомого вам человека, мы позволим себе описать его в общих чертах: вес — сто восемнадцать фунтов; цвет лица и волос — светлый; рост — пять футов шесть дюймов; возраст — около двадцати трех лет; одет в десятидолларовый костюм из зеленовато-голубой саржи; содержимое карманов — два ключа и шестьдесят три цента мелкой монетой.

Воздержитесь от поспешных выводов, если описание это смахивает на полицейский протокол, — Джеймс Тэрнер жив и не пропал без вести.

Allons!

Джеймс Тэрнер целый день работал стоя. У него были чрезвычайно чувствительные ноги — болезненно чувствительные ко

всякому давлению на них извне. День-деньской они ныли и горели, причиняя ему великие страдания и неудобства. Но работа приносила Джеймсу двенадцать долларов в неделю, которые были ему необходимы, чтобы держаться на ногах, даже если ноги отказывались его держать.

У Джеймса Тэрнера было свое представление о счастье — совершенно так же, как у вас или у меня. По-вашему, нет ничего лучше, как носиться по свету на яхте или в автомобиле и швыряться дукатами в разные заморские диковинки. А я люблю посидеть в сумерках с трубочкой и поглядеть, как засыпают прерии и всякая нечисть отправляется помаленьку на покой.

Для Джеймса Тэрнера высшее блаженство заключалось в другом, и он был в этом совершенно самобытен. По окончании работы он шел домой — в меблированные комнаты с табльдотом. Поужинав скромным бифштексом, обугленным картофелем, печеным яблоком и цикорным кофе, он поднимался в свою угловую комнату на пятом этаже окнами во двор. Там, стащив с ног башмаки и носки, Джеймс Тэрнер растягивался на кровати, прижимал свои горящие ступни к ее холодным железным прутьям и уходил с головой в морские небылицы Кларка Рассела. В блаженном прикосновении прохладного металла к многострадальным ступням Джеймс Тэрнер находил свою ежевечернюю отраду. Любимые морские истории, фантастические приключения отважных мореходов никогда не приедались ему. Они были его единственной духовной страстью. Ни один миллионер никогда не чувствовал себя таким счастливым, как Джеймс Тэрнер, расположившийся отдохнуть.

Выйдя из мастерской, Джеймс Тэрнер не пошел на этот раз прямо домой, а уклонился в сторону на три квартала, чтобы порыться в старых книгах, которыми торгуют на тротуарах с лотков. Ему не раз удавалось раздобыть там за полцены какой-нибудь роман Кларка Рассела в бумажной обложке.

Когда он стоял, склонившись с ученым видом над пестрой грудой макулатуры, старый Том Кроули, калиф, как раз проходил мимо. Его зоркий взгляд, обогащенный двадцатилетним опытом производства стирального мыла (сохраняйте обертки!), сразу распознал в этом бедном, но взыскательном ученом достойный объект для своего калифского эксперимента. Спустившись по двум плоским каменным

ступеням тротуара, он не мешкая обратился к намеченной им жертве своих будущих благодеяний. Начал он, как водится, с приветствия — просто чтобы нащупать почву.

Джеймс Тэрнер, зажав в одной руке «Sartor Resartus»^[51], а в другой «Безумный брак», холодно поглядел на незнакомца.

— Проваливай, — сказал он. — Я не покупаю пиджачных вешалок и земельных участков в городе Хэнкипу штат Нью-Джерси. Беги, старичок, поиграй со своим плюшевым медведем.

— Молодой человек, — сказал калиф, пропустив мимо ушей дерзкий ответ чистильщика шляп. — Я замечаю в вас склонность к кабинетным занятиям. Ученость — превосходная штука. Мне самому не пришлось ее набраться — я родом с Запада, там у нас одни голые факты, — но в других я образованность ценю. И хоть не очень-то я разбираюсь в поэзии и разных там иносказаниях, на которые вы тут нацелились, но мне нравится, когда кто-то думает, что он в состоянии понять, что все это значит. Короче, я хочу сделать вам предложение. Я стою сейчас около сорока миллионов долларов и с каждым днем становлюсь богаче. Я сколотил эту кучу денег на Серебристом Мыле Тетушки Пэгги. Это мое собственное изобретение. Три года пробовал так и этак, а потом взял как раз хорошую пропорцию хлористого натрия, каустика и поташа, сварил и получил то, что надо. На этом мыле я набрал миллионов девять, а остальное добрал на видах на урожай. Вы, я вижу, тяготеете к литературе и наукам. Так вот слушайте, что я надумал. Я оплачу ваше обучение в каком-нибудь самом первоклассном колледже. Потом вы поедете шататься по Европе и картинным галереям, и это я тоже оплачу. После чего я дам вам в руки какое-нибудь доходное дело. Не обязательно варить мыло, если вам это не по душе. Ваш костюм и эти махры, заменяющие галстук, говорят о том, что вы порядком нуждаетесь и не в ваших возможностях отклонить такое предложение. Итак, когда мы начнем?

Чистильщик шляп посмотрел на старого Тома, и тот увидел взгляд Большого Города: холодное и обоснованное подозрение читалось в этом взгляде, вызов, самозащита, любопытство, приговор (еще не окончательный, но суровый), цинизм, издевка и — как ни странно — детская тоска по теплоте участия, которую нужно скрывать, когда живешь среди «чужих банд». Ибо в Новом Багдаде, чтобы спасти свою шкуру, нужно остерегаться каждого, кто находится

на соседней скамейке, рядом за стойкой, в комнате за стеной, в доме напротив, на ближайшем перекрестке или вон в том кебе — словом, всех, кто сидит, пьет, спит, живет, гуляет или проезжает мимо.

— Послушайте, приятель, — сказал Джеймс Тэрнер, — вы по какой части работаете, что-то я не пойму? Шнурки для ботинок? Мне не нужен этот товар. Ну-ка берите ноги в руки да катитесь отсюда, пока целы. Если вам надо сбыть партию автоматических ручек или очки в золотой оправе, которые вы подобрали на улице, или, может, пачку сертификатов — так не на того напали. Разве я, по-вашему, похож на человека, который сбежал из сумасшедшего дома по воображаемой пожарной лестнице? С чего это вас так разобрало?

— Сын мой, — произнес калиф на самых гарун-аль-рашидских нотах, — у меня, как я уже сказал, сорок миллионов долларов. Мне не интересно тащить их с собой в могилу. Мне хочется сделать какое-нибудь доброе дело. Я видел, как вы рылись в этих литературных писаниях, и решил вас поддержать. Я пожертвовал миссионерским обществам два миллиона долларов, а что я от этого имею? Расписку секретаря? Вы, молодой человек, как раз то, что мне надо. Я хочу заняться вами и поглядеть, что можно из вас сделать с помощью денег.

Кларк Рассел в тот вечер что-то не попадался, и ноги Джеймса Тэрнера горели, как в огне, а от этого, прямо скажем, не похужеешь. Джеймс Тэрнер был простым чистильщиком шляп, но независимостью характера мог поспорить с любым калифом.

— Ну ты, старый пройдоха, — сказал он в сердцах, — топай отсюда! Я не знаю, чего ты добиваешься — разменять свою фальшивую кредитку в сорок миллионов? Так я не ношу с собой таких денег. А вот короткий левый в правую скулу у меня всегда при себе, и ты его заработаешь в два счета, если не разведешь пары.

— Ах ты, нахальный, паршивый уличный щенок! — сказал калиф.

Джеймс Тэрнер отвесил свой короткий левый. Старина Том ухватил его за шиворот и трижды лягнул в зад; чистильщик шляп извернулся и вошел в клинч; два лотка опрокинулись, и книги разлетелись по мостовой. Появился фараон и поволок обоих в участок.

— Драка и бесчинство, — доложил он сержанту полиции.

— На поруки — залог триста долларов, — мгновенно изрек сержант в утвердительно-вопросительной форме.

— Шестьдесят три цента, — сердито фыркнул Джеймс Тэрнер.

Калиф порылся в карманах и наскреб доллара на четыре бумажек и мелочи.

— Я стою, — сказал он, — сорок миллионов долларов, но...

— Запри их обоих, — распорядился сержант.

В камере Джеймс Тэрнер прилег на койку и задумался.

«Может, у него и вправду столько денег, а может, и врет. Да все одно — есть ли они у него, нет ли, — чего он сует свой нос в чужие дела? Когда человек знает, что ему нужно, и умеет своего добиться, так чем, спрашивается, это хуже сорока миллионов?»

Тут Джеймса Тэрнера осенила счастливая мысль, и лицо его просветлело.

Он разулся, пододвинул койку поближе к двери, растянулся со всем комфортом и прижал ноющие ступни к холодным железным прутьям решетки. Что-то твердое впилося ему в лопатку, причиняя неудобство. Он сунул руку под одеяло и вытащил оттуда роман Кларка Рассела «Возлюбленная моряка» в бумажной обложке. Джеймс Тэрнер удовлетворенно вздохнул.

К решетке подошел сторож и сказал:

— Слышь, парнишка, а ведь старый-то осел, которого забрали вместе с тобой за потасовку, и впрямь, оказывается, миллионер. Он позвонил своим друзьям и сидит сейчас в канцелярии с целой пачкой кредиток толщиной в подушку спального вагона. Ждет тебя — хочет взять на поруки.

— Скажите ему, что меня нет дома, — ответил Джеймс Тэрнер.

Примечания к сборнику

Деловые люди (Strictly Business), 1908. На русском языке под названием «Люди дела» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Золото, которое блеснуло (The Gold That Glittered), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Младенцы в джунглях (Babes in the Jungle), 1903. На русском языке под названием «Дети в джунглях» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

День воскресения (The Day Resurgent), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Пятое колесо (The Fifth Wheel), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Поэт и поселянин (The Poet and the Peasant), 1905. На русском языке под названием «Поэт и крестьянин» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

Ряса (The Robe of Peace), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Женщина и жульничество (The Girl and the Graft), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Комфорт (The Call of the Tame), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Неизвестная величина (The Unknown Quantity), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Театр — это мир (The Thing's the Play), 1906. На русском языке под названием «Жизнь — игра» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Блуждания без памяти (A Ramble in Aphasia), 1905. На русском языке под названием «Афазия» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Муниципальный отчет (A Municipal Report), 1909. На русском языке под названием «Провинция» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Помещая в эпиграфе слова известного романиста, своего современника, Фрэнка Норриса о безнадежной заурядности жизни в американской провинции, О. Генри берется оспорить их. Сообщая план будущего рассказа в письме к приятелю-журналисту Уильяму Гриффиту, он дает такой комментарий: «Я хочу показать, что раз речь идет о жизни живых людей, ни один самый будничнейший, прозаичнейший город ни в чем не уступит Сан-Франциско, Парижу или Багдаду».

Психея и небоскреб (Psyche and Psky-scraper), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

Багдадская птица (A Bird of Bagdad), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

С праздником! (Compliments of the Season), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Новая сказка из «Тысячи и одной ночи» (A Night in New Arabia), 1908. На русском языке под названием «Ночь в Новой Аравии» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сила привычки (The Girl and the Habit), 1905. На русском языке под названием «Барышня и привычка» в книге: О. Генри. Шумигородок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Во вступлении к рассказу — характерное для О. Генри скопление юмористических ассоциаций, намеков и проч., которые он предлагает читателю ловить и расшифровывать «на лету». Материал для его игры — имена. Сперва он составляет «четверку» из радикального американского экономиста Генри Джорджа, первого президента США Джорджа Вашингтона, писателя-классика Вашингтона Ирвинга и популярного современного беллетриста Ирвинга Бачеллера, связав их единственно по тому признаку, что фамилия каждого предыдущего

служит именем последующего. Далее, заведя речь о Западе и Востоке, он формирует комическую по несхожести пару из двух Джеймсов: Джесси Джеймса, известного бандита из западных штатов, и представляющего несколько чопорную традицию восточных штатов писателя Генри Джеймса, над изысканной прозой которого О. Генри любил подтрунивать. И под конец, объявив о своем намерении обратиться за темой рассказа «к полному толковому словарю», О. Генри попутно делает героиню рассказа тезкой книгоиздательской фирмы Мэррием, выпускающей известный толковый словарь Вебстера.

Теория и практика (Proof of the Pudding), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова. О. Генри усложнил и развил здесь сюжет напечатанного двумя годами ранее рассказа «Ценитель и пьеска» (см. сб. «Остатки»).

Во втором часу у Руни (Past One at Rooney's), 1907. На русском языке под названием «После часа у Руни» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Искатели приключений (The Venturers), 1909. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Поединок (The Duel), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

«Кому что нужно» («What You Want»), 1908. На русском языке под названием «Чего вы хотите» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

| |
|-------|
| notes |
|-------|

Примечания

1

«Красная мельница» (*франц.*) — знаменитое кабаре.

Чарлз и Дэниел Фроманы — известные в конце XIX в. американские антрепренёры и режиссёры.

3

Памятник Джорджу Вашингтону.

4

Здесь говорят по-испански.

Dago — кличка итальянцев, португальцев, южноамериканцев латинской расы и т. д.

6

Клянусь Богом! (*исп.*).

7

Великолепны! Прямо великолепно! (*исп.*).

8

Лидер демократической партии.

«Кровь моего сердца!» (*исп.*)

Внутренний двор-сад в испанских постройках.

Сельский элемент в городе (*лат.*).

Северной рекой называется Гудзон в его нижнем течении. Восточная река — пролив между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

Улица нью-йоркской бедноты.

Фиговое дерево (*лат.*).

Чарлз Блейни — режиссёр и автор множества мелодрам.

Центральная часть Нью-Йорка.

34-я улица — центр, в котором расположены главные
увеселительные места.

В комедии Шекспира «Как это вам понравится» один из персонажей говорит: «Мир — это театр, а все мужчины и женщины — актёры» (акт II, сц. 7).

Необходимым условием (*лат.*).

«Отелло», акт 1, сц. 1.

На открытом воздухе (*итал.*).

Мятный ликёр (*франц.*).

Издательство, выпускавшее географические атласы, карты и путеводители.

Персонаж из романа Диккенса «Повесть о двух городах».

Персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга.

По желанию (*лат.*).

Военная песня южан во время Гражданской войны в США.

Лонгстрит — генерал южной армии в Гражданской войне США.

Воинственный вождь зулусов, боровшийся с англичанами в 70-х гг. XIX в.

По библейской легенде, Иаков любил Иосифа больше своих сыновей «и сделал ему разноцветную одежду».

Президент США в 1829–1837 гг.

В 1900-х гг. — владелец самого большого в Нью-Йорке универсального магазина.

Гаммерштейн Оскар — антрепренёр и владелец оперного театра в Нью-Йорке.

Здесь и далее автор обыгрывает известное евангельское изречение «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие небесное».

Перед судом совести (*лат.*).

Джон Митчелл в 1899–1908 гг. был председателем Американского профсоюза горняков.

Из «Королевских идиллий» Теннисона.

Так проходит слава городов (*лат.*).

Джордж Дьюи — американский адмирал.

Корбетт, Джеймс Джон — знаменитый американский боксёр.

Уолтер Рэли (1552–1618) — английский мореплаватель и государственный деятель, фаворит королевы Елизаветы. Ввёз в Англию табак. Существует предание, что Рэли прикрыл своим плащом лужу, чтобы Елизавета могла пройти, не замочив ноги.

«Испанская кожа» (*франц.*) — сорт духов.

Вошедшая в поговорку фраза из «Ричарда II» Шекспира.

Гендрик Гудзон (1576–1611) — английский мореплаватель, открывший реку, впоследствии названную его именем, в устье которой был построен Нью-Йорк.

Джон Л. Салливан, известный боксёр.

Папаша Никербокер — Нью-Йорк, по одной из наиболее известных фамилий первых жителей Нью-Йорка — голландцев.

Певец Карузо.

Комедийные актёры.

Джон Гейтс — биржевой спекулянт, богач.

В роли Андромахи.

«Перекроенный портной» (лат.) — философско-публицистическое сочинение Томаса Карлейля.